

Опись имущества покойной

Егор Ралович

Егор Ралович

Опись имущества покойной

«Автор»
2026

Ралович Е.

Опись имущества покойной / Е. Ралович — «Автор», 2026

Нотариус Ксения Вершинина двадцать лет верит только бумаге: бумага не врёт. Умирает старая костюмерша драмтеатра, и Ксения опечатывает её квартиру и составляет опись имущества, как делала сотни раз.А в 3:14 ночи одна строка описи переписывается фиолетовыми чернилами – её собственным почерком, но с нажимом старой перьевой ручки. В опечатанной квартире меняется вещь: настенные часы встают на 23:40, на столе появляются три чашки, а в шкафу висит чужое красное пальто с билетом на поезд пятидесятилетней давности. Печать на двери цела.Каждая правка – улика из ноябрьской ночи тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года, когда бесследно исчезла ведущая актриса театра. Дело тогда закрыли по приказу, а свидетели до сих пор молчат или умирают. Ксения не помнит ничего до четырёх лет, и чем дальше квартира переписывает опись, тем отчётливее понимает, что эта история касается её самой.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Печать на двери 5
Глава 2. Фиолетовые чернила 12
Глава 3. Наследница, которой нет 18
Глава 4. Племянник 24
Глава 5. Красное пальто 30
Глава 6. Капитан Мальцев 36
Глава 7. Четверо у Летнего театра 42
Глава 8. Правила 48
Глава 9. Голубев 54
Глава 10. Пластинка 60
Конец ознакомительного фрагмента. 62

Егор Ралович
Опись имущества покойной

Глава 1. Печать на двери

Старуху Заруцкую Ксения Олеговна запомнила по рукам.

Два года назад, в такой же ноябрьский день, когда за окном конторы на Соборной улице с утра до вечера стоял серый свет, а батареи грели так, что хотелось открыть форточку, в приёмную вошла маленькая женщина в синем драповом пальто и в шляпке с крошечной вуалью. Шляпку такую Ксения видела только в старом кино. Женщина села на стул у стола, сняла перчатки, положила их одна на другую, ровно, пальчик к пальчику, и положила руки на край стола.

Руки были не старушечьи. То есть кожа – да, сухая, в пятнах, с проступившими венами. Но пальцы лежали спокойно и точно, как у хирурга перед операцией, и на подушечке среднего пальца правой руки темнела старая, въевшаяся мозоль. Такая бывает у тех, кто всю жизнь держал иглу.

– Заруцкая Евгения Аркадьевна, – сказала женщина. – Тысяча девятьсот тридцать первого года рождения. Хочу составить завещание.

– Паспорт, пожалуйста, – сказала Ксения.

Старуха подала паспорт и, пока Ксения его листала, вдруг спросила:

– У вас руки не дрожат?

Ксения подняла глаза.

– Простите?

– Руки, – повторила Заруцкая и посмотрела на неё внимательно, снизу вверх, как смотрят на ткань, прикидывая, ляжет ли она по косой. – Вы ведь будете за меня писать. Я хочу, чтобы написала женщина, у которой руки не дрожат.

– Писать будет принтер, Евгения Аркадьевна, – сказала Ксения как можно мягче. – А я проверю каждое слово.

– Это хорошо, – сказала старуха. – Проверьте каждое слово.

Ксения тогда решила, что старуха немного не в себе. За двадцать лет практики она видела всяких: и тех, кто приходил переписать квартиру на кота, и тех, кто требовал внести в завещание проклятие неблагодарным детям, и тех, кто плакал, и тех, кто торговался. Перед составлением завещания она всегда разговаривала с человеком дольше, чем требовалось, задавала простые вопросы, какое сегодня число, кто сейчас глава города, где вы живёте, сколько у вас комнат, – чтобы потом, если наследники пойдут в суд, никто не мог сказать, что старуха не понимала, что подписывает.

Заруцкая отвечала на всё быстро и сухо. Число назвала, главу города назвала и добавила, что он вор, как и прежний. Квартира у неё была двухкомнатная, на улице Красных Зорь, в доме девять, на третьем этаже, получена в собственность в девяносто третьем году.

– Кому вы хотите её оставить?

– Лидии Сергеевне Ветровой, – сказала Заруцкая. – Тысяча девятьсот сорок восьмого года рождения.

– Она ваша родственница?

– Нет.

– Адрес её вы знаете?

– Нет.

Ксения отложила ручку.

– Евгения Аркадьевна, если я не знаю, где живёт наследница, мне будет трудно её найти. Когда вас не станет, нотариус обязан известить наследника. У вас есть хотя бы какие-то сведения? Город, телефон?

– Я её не видела пятьдесят лет, – сказала Заруцкая. – Почти пятьдесят. Сорок восемь.

– Тогда, может быть, она...

– Может быть, – сказала старуха. – Поэтому напишите дальше. Если её нет в живых, пусть всё получит её дочь. А если и дочери нет, то дети её дочери.

– Как зовут дочь?

Заруцкая помолчала. За окном конторы по Соборной проехал троллейбус, и стёкла тонко дзынькнули.

– Не знаю, как её зовут теперь, – сказала она. – Напишите: дочь Лидии Сергеевны Ветровой. Это ведь можно?

Это было можно. Закон разрешал назначить наследника и на случай, если первый не доживёт, – подназначить, как это называлось в учебниках, – и разрешал описать человека не по имени, а так, чтобы его можно было определить. Ксения объяснила это, старуха кивнула, будто знала это и без неё. Завещание составили в тот же час. Заруцкая прочитала его дважды, водя пальцем со швейной мозолью по строкам, потом расписалась медленно и твёрдо, и подпись у неё вышла с наклоном влево, старой школы, с петлёй на заглавной «З».

– У вас ведь есть дети? – спросила она, уже надевая перчатки.

– Дочь, – ответила Ксения и удивилась, что ответила. Она не обсуждала с посетителями свою жизнь.

– Сколько ей?

– Двенадцать.

– Хорошо, – сказала Заруцкая, и Ксения так и не поняла, что именно хорошо. – Вы её берегите.

Старуха ушла, а Ксения ещё минуту сидела и смотрела на подпись с петлёй. Потом позвала помощницу и сказала, чтобы завещание зарегистрировали в реестре, и забыла о нём на два года.

Вспомнила она о нём шестого ноября, в среду, когда в приёмную, не постучав, вошёл молодой мужчина в кожаной куртке, мокрой на плечах, и, не садясь, сказал:

– Моя тётка умерла. Мне сказали, у неё завещание у вас. Я хочу знать, что в нём.

– Здравствуйте, – сказала Ксения.

– Здравствуйте, – сказал мужчина неохотно. – Заруцкий Роман Викторович. Тётка – Заруцкая Евгения Аркадьевна. Ну, бабушкина... то есть дедова сестра. Двоюродная бабка. Неважно.

– Садитесь, Роман Викторович.

Он сел. Ему было лет тридцать пять, он был небрит не от моды, а от усталости, от него пахло табаком и дешёвым кофе из автомата, и он держал телефон в руке экраном вниз, как держат, когда ждут неприятного звонка.

– Когда она умерла?

– В воскресенье. Соседка нашла. Там старшая по дому есть, Клавдия Семёновна, она к ней ходила, хлеб носила. Тётка сидела в кресле. Врач сказал, сердце. Ну, ей девяносто три года, чему удивляться.

– Мне очень жаль.

– Да, – сказал Роман и посмотрел в окно. – Мне тоже. Я её видел раз в год. Она меня не любила. Она вообще никого не любила. Похороны вчера были, я всё сам оплатил. Теперь скажите, что в завещании.

Ксения объяснила ему, что огласить завещание может, но не раньше, чем он подаст заявление и подтвердит родство, и что ей нужно свидетельство о смерти. Роман достал из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист, развернул, разгладил ладонью на столе.

Пока Ира, помощница, заводила наследственное дело, Ксения читала свидетельство о смерти. Заруцкая Евгения Аркадьевна. Дата смерти – третье ноября. Место смерти – город Тесов. Двадцать лет работы научили её не чувствовать ничего, читая такие бумаги, но сейчас она почему-то вспомнила перчатки, сложенные пальчик к пальчику.

Когда Роман узнал, что квартира завещана не ему, а какой-то Лидии Ветровой, он сначала засмеялся.

– Кому? Это кто вообще?

– Я не могу вам сказать больше, чем написано в завещании, – сказала Ксения. – Я и сама не знаю больше.

– Да она с ума сошла, – сказал Роман. – Я так и знал. Она же в последние годы с телевизором разговаривала. Это можно оспорить?

– Оспорить можно всё. Решать будет суд. Но при составлении завещания я проверяла её дееспособность и подтвержу это в любом суде.

– Ну, понятно, – сказал Роман и поскучнел. – Вы же сами это писали. Конечно, подтвердите.

– Роман Викторович, – сказала Ксения ровно. – Если наследница, указанная в завещании, не будет найдена, или если окажется, что она умерла и у неё нет потомков, то вы, как наследник по закону, получите всё. Это займёт время. Завещание действительно, пока суд не решит иначе.

Он помолчал, крутя телефон.

– А пока что? Там квартира открытая стоит. Ключи у Клавдии. У тётки там золото было, серьги, кольца какие-то старые, она их мне показывала, когда я маленький был. Мебель старая, может, тоже денег стоит. Шкафы, машинка эта её швейная. Растащат же.

– Вы можете попросить меня принять меры к охране наследства, – сказала Ксения. – Я опишу имущество, опечатаю квартиру и назначу хранителя.

– Описывайте, – сказал Роман. – Хоть сегодня.

Сегодня не получилось, а в четверг, седьмого ноября, в одиннадцать утра Ксения вместе с Ирой поднялась по широкой лестнице дома номер девять на улице Красных Зорь.

Дом был сталинский, четыре этажа, жёлтый, с аркой во двор и с лепными венками над окнами третьего этажа. Венки облупились, и из-под жёлтой краски проступала прежняя, розовая, а из-под розовой – серая. В подъезде пахло кошками, сырой штукатуркой и почему-то нафталином. Лестница была широкая, с деревянными перилами, протёртыми до светлого дерева сотнями ладоней, и с чугунными завитками под ними. Ира шла впереди, подпрыгивая на каждой ступеньке, как школьница.

– Ксения Олеговна, а вы знали, что здесь до войны жил главный архитектор города? – говорила она через плечо. – Я вчера смотрела. А в пятидесятые сюда давали квартиры актёрам. Театр же рядом, через сквер. Тут половина подъезда была актёры. Представляете, сколько тут всего было?

– Представляю, – сказала Ксения. – Ира, ты взяла бланки?

– Взяла.

– Ленту, печать?

– Взяла, Ксения Олеговна. Я всё взяла. Даже термос.

Термос был кстати. Опись имущества – дело долгое и холодное: в квартирах умерших всегда холодно, даже если отопление работает, потому что окна никто не открывал, и воздух стоит. Ксения знала, что в таких квартирах человек проводит четыре, пять, иногда восемь часов, и к концу начинаешь чувствовать себя частью мебели.

У дверей квартиры номер четырнадцать их ждали двое. Роман, уже не в мокрой, а в сухой куртке, но всё такой же небритый, и полная невысокая женщина лет семидесяти в пуховом платке поверх домашнего халата и с ключами в руке.

– Рябова Клавдия Семёновна, – представилась женщина. – Старшая по дому. Я Евгении Аркадьевне хлеб носила и лекарства. Двенадцать лет носила. А нашла её я.

Голос у неё дрогнул, и Ксения сказала:

– Спасибо, что пришли, Клавдия Семёновна. Вы будете у нас свидетелем, если не возражаете. Для описи нужно два свидетеля. Роман Викторович будет вторым.

– А я разве могу? – спросил Роман. – Я же заинтересованный.

– Свидетелем при описи может быть и наследник, – сказала Ксения. – Его подпись даже лучше. Потом никто не скажет, что вам что-то не показали.

Клавдия Семёновна отперла дверь. Замков было два: старый, врезной, с длинным ключом, и новый, накладной. Дверь открылась тяжело, будто кто-то держал её изнутри, и в лицо им пахнуло стоялым воздухом, валерьянкой и тем же нафталином, что и в подъезде, только гуще.

Квартира была старая и большая. Прихожая с высоким потолком и с вешалкой из гнутого дерева, на которой висело синее драповое пальто. Ксения узнала его и на секунду остановилась. Под вешалкой стояли две пары ботиков, аккуратно, носок к носку. Из прихожей вели три двери: прямо – в кухню, налево – в большую комнату, направо – в маленькую. Между ними был коридорчик к ванной и уборной.

– Начнём с прихожей, – сказала Ксения. – Ира, пиши.

Ира раскрыла папку, достала бланк описи, и они начали.

Опись имущества – это не просто список вещей. Ксения всегда объясняла это молодым помощникам. В описи нужно указать каждую вещь так, чтобы потом её нельзя было подменить. Не «стул», а «стул деревянный, с гнутой спинкой, сиденье обито зелёным плюшем, на плюше потёртость, на ножке трещина». Не «кольцо», а «кольцо из жёлтого металла, предположительно золото, с камнем красного цвета, размер примерно семнадцатый». Нотариус не оценщик, он не говорит, сколько стоит вещь. Он говорит, какая она, чтобы через полгода, когда придут наследники, каждый мог открыть опись и увидеть, что всё на месте.

– Вешалка напольная деревянная, гнутая, тёмная, высотой около двух метров, – диктовала Ксения. – Пальто женское, драповое, синего цвета, с меховым воротником, мех серый, предположительно кролик. Шляпка женская, фетровая, синяя, с вуалью...

– С вуалькой, – поправила Клавдия Семёновна тихо. – Она её всегда носила. Даже летом.

– С вуалью, – повторила Ксения. – Ботики женские резиновые, чёрные, две пары.

Роман стоял в дверях и смотрел на тёткины ботики с таким выражением, будто они его оскорбили.

Большая комната была гостиной и одновременно мастерской. У окна стояла швейная машинка с ножным приводом, чугунная, с узорами на станине и с надписью на тумбе, такой вытертой, что прочитать её было невозможно. На машинке лежал недошитый кусок тёмного бархата. Рядом – манекен, безголовый, обтянутый серой тканью, с булавками, воткнутыми в плечо, как ордена. На стенах висели фотографии в рамках: театральные, чёрно-белые, люди в костюмах, в париках, с нарисованными бровями. Над диваном – большие круглые часы в коричневом деревянном корпусе.

– Часы настенные, в деревянном корпусе, круглые, циферблат белый, цифры арабские, марка «Янтарь», – диктовала Ксения. – Исправны.

Часы шли. Они стучали громко, тяжело, и Ксения, сама того не замечая, подладила под них речь.

Был буфет с посудой – чешский сервиз, шесть чашек с золотым ободком, шесть блюдец, сахарница, чайник. Был диван, обитый вытертым гобеленом. Был стол, круглый, на одной

ноге, накрытый скатертью с кистями, а на столе – одна чашка с недопитым чаем, засохшим до коричневого кольца. Ксения велела записать и чашку.

– И это записывать? – удивилась Ира.

– Всё, что в квартире, – сказала Ксения. – Всё.

Был проигрыватель «Вега» на тумбочке и под ним – десяток пластинок в бумажных конвертах. Ксения перебрала их: Шульженко, Вертинский, Чайковский, ещё какой-то оркестр. Ира записала каждую. Был книжный шкаф: Чехов, Островский, Толстой, старые журналы «Театр» за шестидесятые и семидесятые годы, перевязанные бечёвкой. На подоконнике – пишущая машинка «Москва» в чехле. На комоде – шкатулка из карельской берёзы, швейная, с катушками, напёрстками, мелками, а в нижнем ящике шкатулки – огромные портновские ножницы с чёрными ручками.

– Ножницы портновские, стальные, длиной около тридцати сантиметров, ручки чёрные, – диктовала Ксения.

Клавдия Семёновна вдруг шмыгнула носом.

– Она ими до последнего кроила, – сказала она. – Девяносто три года, а соседям шторы подшивала. Бесплатно. Только чтобы её не трогали. Я ей говорю: Евгения Аркадьевна, давайте я вам хоть пол помою. А она: Клава, не лезь. Не лезь, говорит, Клава, у меня тут всё на своём месте.

– Она в театре работала? – спросила Ира.

– Костюмершей. Сорок лет. А потом, говорят, в семидесятые, вдруг ушла. Ну, не из театра, а со сцены. Перестала на спектакли ходить, только шила у себя в цеху. А на пенсии вообще никуда не ходила. В магазин – и обратно.

Роман хмыкнул, но ничего не сказал.

Маленькая комната оказалась спальней. Узкая кровать, застеленная белым покрывалом. Трюмо с тремя створками зеркала, на трюмо – флаконы, гребень, пудреница. Платяной шкаф, двустворчатый, с резными дверцами. Ксения открыла шкаф. Внутри висели платья, юбки, кофты, всё тёмное, всё аккуратное, а в глубине – мужское пальто, серое, старое, и рядом пустая вешалка.

– Пальто мужское, драповое, серое, – диктовала Ксения. – Вешалка деревянная, пустая.

– Это деда моего пальто, – сказал вдруг Роман из-за спины. – Деда Виктора. Он тут жил одно время, когда от бабки ушёл. Потом вернулся. А пальто осталось. Тётка его не выкинула.

Ксения обернулась. Роман стоял в дверях спальни и смотрел на серое пальто, и лицо у него на секунду стало другим – не злым, не скучающим, а растерянным.

– Он давно умер? – спросила она.

– В девяносто восьмом. Я маленький был. Он пил. Ну, вы понимаете.

В нижнем ящике комода в спальне нашлись украшения, о которых говорил Роман. Ксения описала каждое: серьги с красными камнями, кольцо с такими же, обручальное кольцо, тонкое, стёртое, хотя Заруцкая, насколько знала Клавдия Семёновна, никогда не была замужем, нитка жемчуга, мужские часы на ремешке. Роман смотрел, как Ира записывает, и шевелил губами – считал.

На кухне Ксения велела записать даже старый холодильник «ЗИЛ», который гудел, как пароход, и чугунные сковородки, и банку с гречкой.

– Тут же гречка, – сказал Роман, – какая разница?

– Разница в том, что вы потом её не найдёте и скажете, что её украл хранитель, – ответила Ксения. – Я двадцать лет этим занимаюсь, Роман Викторович. Из-за чугунной сковородки однажды трое братьев не разговаривали восемь лет.

Он вдруг улыбнулся. Улыбка у него оказалась хорошая, мальчишеская.

– Ладно, – сказал он. – Пишите гречку.

К четырём часам опись была закончена. Сто двенадцать строк на девяти листах. Ксения перечитала её вслух целиком, медленно, строку за строкой, а свидетели ходили за ней по квартире и смотрели на каждую вещь. Это была её привычка, о которой коллеги говорили, что она – лишняя. Закон требует прочитать опись, но не требует ходить по квартире и тыкать пальцем в каждую ложку. Ксения тыкала.

– Часы настенные, «Янтарь», исправны, – прочитала она, стоя под часами. Часы тикали.

– Исправны, – подтвердила Клавдия Семёновна.

– Чашка фарфоровая, белая, с золотым ободком, одна, на столе, с остатками чая.

– Одна, – сказал Роман. – Одна чашка. Я вижу.

Когда всё было прочитано, все трое расписались на каждом листе. Ксения поставила печать. Экземпляров было три: один – в наследственное дело, один – хранителю, один – наследнику. Хранителем Ксения назначила Клавдию Семёновну: она жила этажом ниже, у неё уже были ключи, и было видно, что она не тронет даже гречку.

– А мне ключ? – спросил Роман.

– Ключ – у хранителя. Входить в квартиру можно только в моём присутствии или с моего разрешения. Квартира будет опечатана. Если печать будет сорвана, вы должны сообщить мне и в полицию.

Роман пожал плечами.

Они вышли на площадку. Ира достала из папки бумажную ленту с синей полосой, Ксения поставила на неё подпись и печать, ленту наклеили поперёк двери, от косяка до косяка, а потом расписались на ней все трое. Клавдия Семёновна расписалась крупно, по-школьному. Роман – быстрой закорючкой.

Ксения стояла и смотрела на дверь. Дверь была старая, обитая коричневым дерматином, с латунными гвоздиками, половина которых была потеряна. Номер «14» был вырезан из латуни и прибит чуть криво.

– Всё? – спросил Роман.

– Всё.

Он кивнул и пошёл вниз, звеня ключами от машины. Клавдия Семёновна тоже пошла, но на полпролёта остановилась и сказала, глядя не на Ксению, а на дверь:

– Она мне в последнюю неделю всё говорила: «Клава, когда меня не станет, ко мне придут и всё запишут. Ты проследи, чтобы всё записали». А я говорю: «Да кто придёт, Евгения Аркадьевна, кому нужны ваши сковородки?» А она смеётся. «Придут, – говорит. – Обязательно придут. Женщина придёт, у которой руки не дрожат».

Ксения ничего не ответила. Она смотрела, как Клавдия Семёновна спускается по лестнице, держась за перила, и как исчезает за поворотом её пуховый платок.

– Ксения Олеговна, – сказала Ира шёпотом. – Это ведь вы. Про руки.

– Ира, – сказала Ксения, – это просто такое выражение.

– Нет такого выражения.

– Значит, теперь есть.

Они спускались по лестнице, и Ксения вдруг поймала себя на том, что прислушивается. Сверху, из-за двери с бумажной лентой, должно было ещё доноситься тиканье часов «Янтарь». Через дерматин и две двери, через площадку и пролёт его, конечно, нельзя было услышать. Но ей казалось, что она его слышит: тяжёлое, медленное, как шаги человека, который ходит по комнате и не может остановиться.

На улице уже темнело. В сквере перед театром зажгли фонари, и колонны театра стали жёлтыми, как старая бумага. Ира шла рядом и рассказывала что-то о своей сестре, о новом сериале, о том, что надо бы купить зимние сапоги. Ксения кивала.

В конторе она положила свой экземпляр описи в сейф, на верхнюю полку, рядом с реестром. Девять листов, сто двенадцать строк, три подписи на каждом листе. Повернула ключ, проверила ручку.

Дома Соня, четырнадцатилетняя, длинноногая и сердитая, ела макароны прямо из кастрюли и смотрела в телефон.

– Мам, у нас в студии будут ставить «Чайку», – сказала она, не поднимая глаз. – Я хочу Нину.

– Хочешь – значит, будешь, – сказала Ксения и поцеловала её в макушку.

– Ты даже не знаешь, кто такая Нина.

– Я знаю, кто такая Нина. «Я – чайка». Нет, не то. Я – актриса.

Соня подняла голову и посмотрела на неё с изумлением.

– Мам, ты читала?

– Я в школе читала, – сказала Ксения. – Нам задавали.

Она легла поздно, после полуночи, и долго не могла заснуть. Перед глазами всё стояла одна чашка с засохшим коричневым кольцом на скатерти с кистями. Одна чашка. И пустая вешалка в шкафу рядом с серым мужским пальто.

Почему вешалка была пустая? Ведь у старухи всё было на своём месте.

Ксения повернулась на другой бок и наконец уснула. Ей ничего не снилось.

Глава 2. Фиолетовые чернила

Утром в пятницу Ксения пришла в контору первой, как всегда. Без двадцати девять, когда на Соборной ещё горели фонари, а дворник у соседнего банка лениво скрёб лопатой по сухому асфальту, потому что снег обещали, но так и не дали.

Контора занимала первый этаж старого купеческого дома: приёмная, два кабинета, архив и маленькая кухня, где Ира держала свои травяные чаи в банках с надписями. Ксения сняла пальто, включила свет, включила чайник и только после этого открыла сейф. Она делала это каждое утро. Сейф был старый, тяжёлый, зелёный, с медной ручкой, его оставил ей предшественник вместе с конторой и с привычкой всё проверять дважды.

Реестр лежал на месте. Папки с завещаниями лежали на месте. Опись имущества Заруцкой лежала на верхней полке, где Ксения её оставила, девять листов, скреплённых скрепкой.

Ксения взяла её, чтобы подшить в наследственное дело, и машинально пролистала. Она всегда пролистывала документы перед тем, как подшить, – просто чтобы ещё раз увидеть подписи.

На втором листе она остановилась.

Строка сорок первая. Ира печатала опись на планшете с маленьким принтером, который они возили с собой, и все строки были ровные, одинаковые, чёрные. Сорок первая строка тоже была напечатана: «Часы настенные, в деревянном корпусе, круглые, циферблат белый, цифры арабские, марка «Янтарь»». А дальше, после запятой, где вчера стояло напечатанное слово «исправны», теперь было другое.

Слово «исправны» было зачёркнуто одной тонкой линией. Аккуратно, как зачёркивают в документах, чтобы прежнее можно было прочитать. А над ним, мелко, наклонно, фиолетовыми чернилами было написано: «остановлены на 23:40».

Ксения смотрела на эти слова, наверное, целую минуту. Чайник на кухне вскипел и щёлкнул.

Первое, что она подумала, было: Ира. Ира вчера оставалась в конторе после неё? Нет, они ушли вместе, Ксения закрывала дверь сама. Ключа от сейфа у Иры не было. Ключ был один, у Ксении, на связке, и связка всю ночь висела у неё в прихожей.

Второе, что она подумала, было: я сама. Вчера, когда перечитывала опись вслух и тыкала пальцем в каждую вещь, она могла... Нет. Она помнила, как читала: «исправны», и Клавдия Семёновна повторила: «исправны», и часы тикали над головой.

Третье, что она подумала, было самым неприятным. Почерк.

Она поднесла лист к лампе. Фиолетовые буквы были мелкие, с сильным наклоном вправо, с длинным хвостом у «д» и с петлёй у «л», которую Ксения делала с первого класса, сколько ни пыталась от неё избавиться. Цифры «23:40» были написаны так, как она писала цифры: четвёрка открытая, с хвостиком вниз, ноль чуть приплюснутый. Это был её почерк. Не похожий – её.

Только писала она всю жизнь синей шариковой ручкой. Фиолетовых чернил у неё не было. Ни у кого их не было лет тридцать.

Ксения провела по строке пальцем. Чернила лежали на бумаге не так, как ложится паста. Они немного впитались в волокна и по краям буквы были чуть шире, бархатнее, а там, где перо нажимало сильнее, на изгибах, линия становилась гуще, почти чёрной. Так пишут перьевой ручкой. Она помнила это ощущение по школе: чернильница-непроливайка в портфеле у старшей двоюродной сестры, синие пальцы, промокашка в тетради.

Она перелистала опись целиком. Остальные сто одиннадцать строк были такие, как вчера. Только сорок первая.

Ксения положила опись обратно в сейф, закрыла его, села за стол и некоторое время сидела, глядя на свои руки. Руки не дрожали. Это было даже немного обидно.

Ира пришла в девять пятнадцать, в новом малиновом шарфе, с мокрыми волосами, потому что всё-таки пошёл мелкий снег с дождём.

– Ксения Олеговна, доброе утро! Я вам купила пирожок с капустой, там у остановки открыли пекарню, такие пирожки, вы не поверите...

– Ира, – сказала Ксения, – подойди сюда, пожалуйста.

Ира подошла, жуя. Ксения открыла сейф, достала опись и положила перед ней на стол второй лист.

– Прочитай сорок первую строку.

Ира прочитала. Перестала жевать. Прочитала ещё раз.

– Это кто написал?

– Я тебя хотела спросить.

– Я? – Ира подняла на неё глаза, совершенно круглые. – Ксения Олеговна, вы что! У меня и ключа нет. И почерк не мой. Это же... это же ваш почерк.

– Похож.

– Да ваш это! Вот же, у вас такая «д» всегда, с хвостом. Я ваши резолюции третий год читаю. – Ира замолчала, потом сказала совсем тихо: – А почему фиолетовым?

– Не знаю.

– А что это значит – «остановлены на 23:40»?

– Не знаю, Ира.

Ира положила недоеденный пирожок на салфетку, вытерла пальцы и наклонилась к листу так низко, что почти коснулась его носом.

– Это перо, – сказала она. – Смотрите, тут нажим. Это перьевая ручка. У моего деда такая была, он ею открытки подписывал на Новый год.

– Я вижу, что перо.

– А может, это Роман? – вдруг сказала Ира. – У него же второй экземпляр. Может, он у себя написал, а потом... нет. Ну, нет, к вам в сейф он как попадёт. А может, это вы во сне? Ну, лунатизм бывает, у моей подруги брат ходил по ночам и холодильник открывал...

– Ира, – сказала Ксения. – Мой сейф стоит здесь. Я сплю дома, на Лесной. Если я ночью встала, пришла сюда через весь город, открыла дверь, отключила сигнализацию и открыла сейф, то на записи с камеры у банка это будет видно. Позвони, пожалуйста, на пульт охраны и узнай, не снималась ли контора ночью с охраны.

Ира позвонила. Контора с охраны не снималась. Последний раз её поставили в восемнадцать сорок две, сняли в восемь сорок одну. Обе отметки – ключ Ксении.

– Значит, никто не входил, – сказала Ира, кладя трубку. Голос у неё стал тоньше обычного.

– Значит, никто не входил.

– И что теперь делать?

Ксения подумала. Если бы её спросили, что делать, когда в нотариальном документе появилась несанкционированная правка, она бы ответила без раздумий: составить акт, пригласить свидетелей, выяснить, кто внёс правку, и сообщить в палату. Порядок был ясен. Но в порядке не было пункта, что делать, если правка внесена твоей рукой, чернилами, которых у тебя нет, в сейф, который никто не открывал.

– Позвони Заруцкому, – сказала она. – Попроси его посмотреть свой экземпляр описи. Сорок первую строку. Только не говори зачем.

Ира позвонила. Роман сначала долго не брал трубку, потом взял и что-то недовольно сказал, Ира повторила просьбу, и в трубке стало тихо. Ира держала трубку у уха, глядя на

Ксению. Ксения слышала через стол шорох бумаги, шаги, потом снова голос Романа, громкий, потому что он почти кричал:

– Это что за шутки? Это вы написали? Как вы это сделали?

Ира отдала трубку Ксении.

– Роман Викторович, – сказала Ксения, – где у вас лежит экземпляр описи?

– В бардачке, – сказал Роман. – В машине. Я его вчера туда бросил, и всё. Машина всю ночь у подъезда стояла, на сигнализации. Я сейчас спустился, открыл, а тут... Тут ручкой написано. Фиолетовой. «Остановлены на двадцать три сорок». Это ваша контора так шутит? Вы мне дверь в машину вскрыли?

– У меня в экземпляре то же самое, – сказала Ксения.

Роман замолчал.

– Как – то же самое?

– Слово в слово. Фиолетовыми чернилами. В моём сейфе.

Опять молчание. Потом Роман сказал уже другим голосом, без крика:

– Ну и что это за чертовщина?

– Я хочу съездить в квартиру, – сказала Ксения. – Вы можете подъехать к часу? И позвоните, пожалуйста, Клавдии Семёновне, у неё ключи.

– Подъеду, – сказал Роман и отключился.

Третий экземпляр, подшитый в наследственное дело, лежал в архиве, в шкафу, в папке с номером. Ксения сходила за ним сама. Сорок первая строка. «Исправны» зачёркнуто тонкой линией. Сверху фиолетовым: «остановлены на 23:40».

Она вернулась в кабинет, села, разложила перед собой все три листа, хотя сравнивать было уже незачем. Ира стояла в дверях и молчала, что для Иры было почти подвигом.

– Ксения Олеговна, – сказала она наконец, – а вы в бога верите?

– Нет, – сказала Ксения. – Я верю в документы. Позвони, пожалуйста, всем, кто записан у нас на сегодня до двенадцати, и перенеси на понедельник. Скажи, что я заболела.

– А вы не заболели?

– Не знаю, Ира. Может быть.

В час дня в подъезде дома на Красных Зорь было так же сыро и так же пахло кошками. На площадке третьего этажа стояли Роман и Клавдия Семёновна. Роман курил, хотя на стене висела табличка, что курить запрещено, и, увидев Ксению, торопливо затушил сигарету о подошву и сунул окурок в карман.

– Я посмотрела печать, – сказала Клавдия Семёновна вместо приветствия. – Целая. Вы гляньте сами.

Ксения глянула сама. Бумажная лента с синей полосой шла поперёк двери, от косяка до косяка. Края были ровные, клей держал. Подписи на месте: её, Клавдии Семёновны крупная, школьная, Романа – закорючкой. Печать – на месте, круглая, синяя, чёткая. Никаких надрывов, никаких следов того, что ленту отклеивали и приклеивали снова. Ксения нагнулась и посмотрела на щель между дверью и косяком: лента входила в щель, натянутая, и любой, кто открыл бы дверь, разорвал бы её.

– Целая, – сказала она.

– Кто-то мог через окно, – сказал Роман. – Третий этаж. Пожарная лестница там есть? Со двора?

– Нету там никакой лестницы, – сказала Клавдия Семёновна. – Стена голая. И окна у неё на зиму заклеены, она сама каждую осень заклеивала. Газетой и мылом.

– Мне нужно войти, – сказала Ксения. – Для этого придётся снять печать. Я составлю акт о вскрытии и после этого опечатаю снова. Вы оба подпишете.

Ира, которая шла следом, уже доставала из папки бланк.

Ксения сфотографировала печать на телефон с трёх сторон, потом взяла у Иры канцелярский нож и аккуратно разрезала ленту по щели. Клавдия Семёновна отперла оба замка.

Дверь открылась так же тяжело, как вчера. В прихожей стоял тот же запах: валерьянка, нафталин, стоялый воздух. Синее пальто висело на гнутой вешалке, ботики стояли носок к носку.

И было тихо.

Ксения не сразу поняла, что именно не так. Вчера, когда они выходили, часы в большой комнате тикали. Их было слышно ещё из прихожей. Тяжёлое, медленное, как шаги. Сейчас в квартире стояла тишина, в которой было слышно, как в кухне гудит старый «ЗИЛ», как на улице проехала машина и как дышит за спиной Роман.

Она прошла в большую комнату первой.

Часы «Янтарь» висели над диваном, круглые, в коричневом деревянном корпусе. Стрелки стояли: часовая – чуть не доходя до двенадцати, минутная – на восьми. Двадцать три сорок. Маятника за стеклом нижнего окошка не было видно, он висел неподвижно, не дойдя до края.

– Может, просто кончился завод, – сказал Роман у неё за плечом. Голос у него был хриплый. – Их же заводить надо. Тётка заводила, а теперь некому. Вот и встали.

– Тогда они встали бы в случайное время, – сказала Ксения.

– Ну и встали в случайное. Двадцать три сорок – это случайное.

– Вчера в шестнадцать ноль-ноль они шли. Если кончился завод, то они встали вчера в двадцать три сорок. А опись мы подписали в четыре часа дня. Кто написал в ней, во сколько они встанут?

Роман ничего не ответил.

Клавдия Семёновна стояла в дверях комнаты и крестилась, мелко и часто, как крестятся старые женщины, когда думают, что никто не смотрит.

– Евгения Аркадьевна их каждое воскресенье заводила, – сказала она. – Ключиком. Ключик у неё вон в той чашечке на буфете лежал. Она говорила, они неделю идут, а то и восемь дней. Она их как раз в то воскресенье и завела, когда... Утром завела, а вечером я её нашла.

Значит, завод был на неделю. Значит, часы не должны были остановиться ещё дня три.

Ксения подошла ближе. Стекло циферблата было пыльное, по краю – тонкий серый налёт, как бывает на часах, которые давно не протирали. Вчера, кажется, тоже было пыльное. Она не помнила. Она описывала часы, а не пыль.

– Ира, – сказала она, не оборачиваясь, – сфотографируй, пожалуйста. Крупно, циферблат. И время на телефоне в кадре.

Ира сфотографировала.

– Можно я их заведу? – спросил Роман. – Проверим, может, сломались.

– Нет, – сказала Ксения. – Ничего не трогаем. Это описанное имущество.

Она сама удивилась, как твёрдо это прозвучало. Будто дело было именно в описи и в правилах, а не в том, что ей не хотелось, чтобы кто-нибудь сейчас прикасался к этим часам.

Она обошла квартиру со своим экземпляром описи в руках. Строка за строкой, как вчера. Вешалка. Пальто синее. Шляпка с вуалью. Ботики. Машинка швейная, на ней бархат. Манекен. Буфет: шесть чашек с золотым ободком, шесть блюдец. Стол на одной ноге, скатерть с кистями, одна чашка с остатками чая. Проигрыватель. Пластинки, десять штук. Машинка пишущая в чехле. Шкатулка, ножницы. Спальня: кровать, трюмо, шкаф, платья, серое мужское пальто, пустая вешалка. Комод, украшения – все на месте, Роман пересчитал дважды. Кухня, «ЗИЛ», сковородки, гречка.

Всё было как вчера. Только часы стояли.

Ксения закончила обход у окна в большой комнате и посмотрела во двор. Двор был квадратный, колодцем, с двумя голыми тополями и с детской площадкой, на которой никто не

играл. Окно было заклеено на зиму полосками газеты, как и сказала Клавдия Семёновна. Газета пожелтела, кое-где отошла, но держалась. Никто через это окно не входил.

– Что будем делать? – спросил Роман.

Ксения повернулась. Все трое смотрели на неё: Роман – угрюмо и вопросительно, Клавдия Семёновна – испуганно, Ира – с каким-то восторженным ужасом, от которого у неё горели щёки.

– Мы составим акт, – сказала Ксения. – В акте укажем, что при повторном осмотре квартиры обнаружено: часы настенные «Янтарь» не идут, стрелки показывают двадцать три часа сорок минут. Укажем, что в экземплярах описи имеется исправление, внесённое неустановленным лицом. Потом снова опечатаем квартиру.

– И всё? – спросил Роман.

– А что вы предлагаете, Роман Викторович?

– Не знаю. Священника позвать. Полицию. Не знаю.

– В полицию мне пока нечего сказать, – сказала Ксения. – Что у меня в сейфе кто-то исправил документ, а сейф никто не открывал? Меня отправят к врачу. И правильно сделают.

Роман хмыкнул.

Ира писала акт на подоконнике, Клавдия Семёновна диктовала ей, как пишется её отчество, хотя Ира знала. Роман стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы куртки, и смотрел на часы.

– Двадцать три сорок, – сказал он. – Тётка в воскресенье умерла не в двадцать три сорок. Её Клавдия Семёновна нашла в семь вечера. Врач сказал, умерла днём.

– Днём, – подтвердила Клавдия Семёновна, не поднимая головы от акта. – Часа в три, сказали.

– Значит, это не про неё, – сказал Роман.

– Значит, не про неё, – согласилась Ксения.

– А про кого?

Ксения не ответила. Она смотрела на круглый стол на одной ноге, на скатерть с кистями, на одну фарфоровую чашку с засохшим коричневым кольцом внутри, и думала о том, что старуха Заруцкая пришла к ней два года назад и попросила, чтобы опись делала женщина, у которой не дрожат руки. Что Клавдия Семёновна слышала от неё: «Ко мне придут и всё запишут». Что сто двенадцать строк вчера были правдой, а сегодня одна из них стала другой правдой.

Они подписали акт, вышли на площадку, наклеили новую ленту поперёк двери и снова расписались на ней все трое. Ксения поставила печать, нажимая сильнее, чем нужно, так что круг вышел чуть смазанным.

– Я поставлю тут камеру, – сказал Роман, когда они спускались. – У меня друг есть, он ставит. Маленькую, на батарейках. Чтобы смотрела на дверь.

– Ставьте, – сказала Ксения. – Только не на дверь, а на лестницу. Дверь нельзя трогать.

Вечером, уже дома, когда Соня ушла в свою комнату и включила там музыку, а за окном наконец пошёл настоящий снег, Ксения села на кухне с ноутбуком и набрала в поисковой строке: «Ветрова Лидия Сергеевна, 1948». Поисковик выдал ей страницу какой-то Ветровой из Самары, сорок лет, и ссылку на продажу кухонных гарнитуров.

Она набрала: «Ветрова, Тесовский драматический театр».

Первая же ссылка вела на сайт театра, в раздел «История». Там была длинная, скучная страница с перечнем спектаклей по годам, с фамилиями режиссёров и с маленькими фотографиями. Ксения пролистала до семидесятых. Сезон 1974–1975. «Чайка», премьера 14 ноября 1974 года. Режиссёр-постановщик такой-то. В ролях: Аркадина – такая-то, Треплев – такой-то, Тригорин – П. Сабуров, Нина Заречная – Л. Ветрова.

Ниже было приписано мелким шрифтом, будто кто-то стеснялся: «Спектакль был снят с репертуара в декабре 1974 года в связи с уходом исполнительницы роли Нины Заречной из труппы».

Ксения закрыла ноутбук.

Премьера – четырнадцатого ноября. Часы остановились на двадцати трёх сорока. Через неделю было пятнадцатое ноября, ровно пятьдесят лет с той ночи.

Она посидела ещё, слушая, как за стеной Соня поёт под музыку, фальшивя и не замечая этого, а потом встала, вымыла чашку и легла спать, и ровно в три часа четырнадцать минут ночи проснулась от того, что ей показалось, будто где-то очень далеко, за много улиц отсюда, в пустой квартире на третьем этаже кто-то поставил на стол ещё одну чашку.

Глава 3. Наследница, которой нет

В субботу контора не работала, но Ксения пришла туда в восемь утра, сняла её с охраны своим ключом и, не включая света в приёмной, прошла прямо к сейфу.

Она не хотела себе признаваться, что ночью проснулась в три четырнадцать. Она посмотрела на телефон, увидела цифры, сказала себе, что это совпадение, что все просыпаются ночью, и что три четырнадцать – просто время, такое же, как три тринадцать или три пятнадцать. Потом лежала до шести, глядя в потолок, на котором от уличного фонаря покачивалась тень голой ветки.

Опись лежала на верхней полке. Ксения вынула её и раскрыла на втором листе, прямо стоя у сейфа, в пальто.

Сорок первая строка: «исправны» зачёркнуто, сверху фиолетовым «остановлены на 23:40». Как вчера.

Она перевернула лист. Сорок седьмая строка. Вчера там было напечатано: «Чашка фарфоровая, белая, с золотым ободком, одна, на столе, с остатками чая». Сейчас слово «одна» было зачёркнуто той же тонкой линией. Сверху фиолетовым: «три, одна со следом помады». А в тридцать восьмой строке, где описывался буфет, исправление было второе, маленькое: «шесть чашек» – «шесть» зачёркнуто, сверху «четыре».

Ксения медленно села на стул у сейфа, не снимая пальто.

Значит, это не кончилось. Значит, это не одна случайная строчка, не чья-то шутка, не сбой, который можно списать и забыть. Значит, будет и завтра, и послезавтра.

Она сфотографировала лист на телефон, положила опись обратно и закрыла сейф. Потом всё-таки сняла пальто, включила свет и чайник и написала Ире: «Ты не спишь?»

Ира ответила через сорок секунд: «Нет!!! Я всю ночь сидела в архиве! Вы где?»

«В конторе».

«Еду!!!»

Ира приехала через двадцать минут, без шарфа, с ноутбуком под мышкой и с двумя стаканами кофе из той самой пекарни у остановки. Глаза у неё были красные, а лицо счастливое, как у человека, который всю ночь решал трудную задачу и решил.

– Ксения Олеговна, я нашла её, – сказала она с порога. – То есть не нашла, но нашла. В общем, слушайте.

– Сначала посмотри, – сказала Ксения и протянула ей телефон.

Ира посмотрела. Поставила кофе на стол. Посмотрела ещё раз, увеличила снимок пальцами.

– Три чашки, – сказала она. – Одна со следом помады. А в буфете четыре. Это значит, две чашки взяли из буфета и поставили на стол. К той, которая уже была.

– Да.

– Значит, были гости. Двое.

– Или один гость и она сама. Чашка, которая стояла с остатками чая, – это чашка Заруцкой. Она пила чай в воскресенье, перед тем как... Это её чашка. А две другие – из буфета.

Ира подумала.

– Нет, – сказала она. – Смотрите. Часы – это не про воскресенье, это про двадцать три сорок. А Заруцкая умерла днём. Значит, и чашки не про воскресенье. Это про тот день. Про четырнадцатое ноября. Вы же видели сайт театра?

Ксения посмотрела на неё внимательно.

– Ты тоже видела?

– Я всё видела, – сказала Ира и раскрыла ноутбук. – Вот. Я вчера пришла домой, думала, засну, а не засну никак. Ну, я и начала искать. Сайт театра – это ерунда, там две строчки.

Я пошла в областную библиотеку, в электронный архив газет, у них там «Тесовская правда» отсканирована с пятидесятого года. Не вся, кусками, но семьдесят четвёртый есть. Я там всю ночь просидела. Смотрите.

На экране был скан газетной страницы, жёлтый, с размытыми краями. Ира увеличила. Статья называлась «Чайка взлетает». Под заголовком – фотография: девушка в светлом платье, с распущенными волосами, стоит на краю сцены и смотрит куда-то поверх зала. Лица толком было не разглядеть, зерно, растр, печать семидесятых. Но видно было, что она высокая, тонкая и что у неё длинная шея.

«Премьера чеховской "Чайки" на сцене областного драматического театра стала событием сезона, – читала Ира вслух, водя пальцем по экрану. – Молодая актриса Лидия Ветрова в роли Нины Заречной заставила зал замереть. Её Нина – не жертва, а человек, который выбирает свою дорогу и платит за неё сполна. В финальном монологе, когда Нина говорит "Я – чайка... Нет, не то", зрители в зале плакали, не стесняясь. Достойным партнёром Ветровой стал Павел Сабуров в роли Тригорина...» Это шестнадцатое ноября, суббота. А вот это, – она пролистала, – это двадцатое декабря.

Вторая заметка была крошечная, в самом низу страницы, под объявлениями о продаже пианино и о сдаче комнаты. «В областном драматическом театре. В связи с уходом из труппы по собственному желанию актрисы Л. Ветровой спектакль "Чайка" снимается с репертуара. Билеты на спектакли 22 и 28 декабря можно сдать в кассу театра».

– По собственному желанию, – сказала Ксения.

– Ага. Через месяц после премьеры, которая «событие сезона». Ушла и всё. А потом, – Ира снова пролистала, – вот. Это уже март семьдесят пятого. Розыск.

Заметка была ещё меньше, в рамочке, с маленькой, совсем размытой фотографией. «Внимание, розыск! Разыскивается Ветрова Лидия Сергеевна, 1948 года рождения, которая 15 ноября 1974 года ушла из дома и не вернулась. Приметы: рост 172 см, телосложение худощавое, волосы светло-русые, длинные, глаза серые. Была одета в красное пальто, чёрные сапоги. Всех, кто видел её или знает о её местонахождении, просят сообщить по телефону...»

– Ушла из дома пятнадцатого, – сказала Ксения. – А из театра по собственному желанию – двадцатого декабря.

– Вот и я так подумала. Как она могла уйти из театра по собственному желанию, если её с пятнадцатого ноября никто не видел? Кто за неё заявление написал?

– И почему розыск объявили только в марте?

– Вот, – сказала Ира с удовольствием. – Вот именно.

Ксения откинулась на спинку стула. Кофе из пекарни был горячий и слишком сладкий, Ира всегда клала ей два сахара, хотя Ксения пила без сахара.

– Дальше, – сказала она.

– Дальше я пошла по базам, – сказала Ира. – Ну, вы знаете, у нас доступ есть. Ветрова Лидия Сергеевна, сорок восьмого года. Смерть не зарегистрирована. Ни в Тесове, ни в области, ни где-то ещё, куда я могу посмотреть. Паспорт нового образца она не получала. Пенсию не получала. Нигде не прописана после семьдесят четвёртого. Брак не регистрировала. Детей... – Ира замялась. – Детей тоже не регистрировала. По крайней мере, в Тесове.

– Её нет, – сказала Ксения.

– Её нет, – согласилась Ира. – Ни живой, ни мёртвой. Знаете, как это называется? Пропала без вести. Умершей её никто не признавал. Я проверила, в суде такого дела не было.

– А родственники? Родители?

– Мать – Ветрова Анна Фёдоровна, умерла в восемьдесят первом. Отец – погиб в пятьдесят втором, на стройке. Братьев и сестёр нет. Была тётка по матери, в Заполье, это деревня под Сосновкой, но она умерла ещё в семьдесят девятом.

Ксения допила кофе, морщась от сладости.

– Получается, – сказала она, – что завещание составлено в пользу женщины, которая, скорее всего, умерла пятьдесят лет назад. А на случай её смерти – в пользу её дочери. А дочери, судя по базам, нет.

– В Тесове нет, – поправила Ира. – Я же говорю. Она могла родить где-то ещё. Или не зарегистрировать. Или...

– Или Заруцкая выдумала дочь.

– Зачем ей выдумывать?

– Затем, что ей было девяносто один год, когда она пришла ко мне, и она была одинока, и сорок восемь лет думала о какой-то девушке, которая ушла и не вернулась. – Ксения сама слышала, как неубедительно это звучит. – Ира, я проверяла её дееспособность. Она была в здравом уме. Но в здравом уме тоже можно ошибаться.

Ира посмотрела на неё долгим взглядом.

– Ксения Олеговна, а чашки – это тоже ошибка?

Ксения не ответила.

В квартиру на Красных Зорь они поехали к одиннадцати. Роман приехал раньше и ждал у подъезда, курил, переминаясь с ноги на ногу. Ночью выпал снег, тонкий, мокрый, и двор весь был в серых следах.

– Камеру мы поставили, – сказал он вместо приветствия. – Вчера вечером. Друг поставил. Вон туда, на площадку между вторым и третьим, на подоконник, смотрит вверх. Видно и лестницу, и вашу дверь кусочком.

– И что?

– Ничего. – Роман бросил окурок в сугроб. – Я утром всё пересмотрел. С восьми вечера до восьми утра. Пятнадцать раз проматывал. В десять вечера Клавдия Семёновна поднималась к соседям на четвёртый, в половине одиннадцатого спускалась. В час ночи кот пробежал. Всё. Никого. Дверь – вот она, в углу кадра. Никто к ней не подходил.

– А в три четырнадцать? – спросила Ира.

Роман посмотрел на неё с подозрением.

– А почему именно в три четырнадцать?

– Просто.

– В три четырнадцать, – сказал Роман медленно, – камера мигнула. На секунду. Картинка пропала и появилась. Друг говорит, это помеха, от батарейки. Бывает.

Ира посмотрела на Ксению. Ксения посмотрела на снег.

Клавдия Семёновна уже стояла на площадке у двери с ключами. Печать была целая, лента натянута, подписи на месте. Ксения снова сфотографировала всё с трёх сторон, снова разрезала ленту, снова составила акт. Ей казалось, что она делает это уже много лет.

Чашки стояли на круглом столе.

Их было три. Одна – та, что была с самого начала, с засохшим коричневым кольцом чая внутри, стояла на прежнем месте, ближе к дивану. Две другие стояли напротив, рядом, почти касаясь друг друга блюдцами. Обе из того же чешского сервиза, белые, с золотым ободком. В одной на дне было что-то тёмное, засохшее, как и в первой. Вторая была пустая, но на её краю, с той стороны, откуда пьют, виднелся след.

Ксения наклонилась.

След помады был яркий, красный, полукругом, как отпечаток губ. Не засохший до бурого, не потрескавшийся, а свежий, влажно блестящий, будто чашку поставили минуту назад.

– Не трогайте, – сказала Ксения, хотя никто и не собирался.

Клавдия Семёновна прошла к буфету и открыла стеклянную дверцу.

– Четыре, – сказала она. – Было шесть. Я сама вытирала, когда она болела. Шесть было.

– Помада, – сказал Роман глухо. – У тётки помады не было. Она не красилась. Никогда. Я не помню, чтобы она хоть раз...

– Не красилась, – подтвердила Клавдия Семёновна. – Даже на юбилей, когда из театра цветы принесли, на девяносто лет. Я ей говорю: Евгения Аркадьевна, давайте хоть губки. А она: не люблю я, Клава, помаду. Помада, говорит, для тех, кого видно.

Ксения выпрямилась и осмотрела комнату. Всё было на местах. Швейная машинка с бархатом. Манекен с булавками. Часы «Янтарь» на двадцати трёх сорока. Пыль на стекле циферблата. Скатерть с кистями. Три чашки.

Она подумала о том, что сказала бы, если бы сейчас сюда вошёл любой разумный человек. Например, капитан полиции. Или председатель нотариальной палаты. Или её бывший муж, который был инженером и любил говорить, что у всего есть объяснение, а если объяснения нет – значит, ты плохо смотрел.

Что кто-то вошёл через стену? Что кто-то, кто знал, что Заруцкая завещала квартиру исчезнувшей актрисе, решил устроить представление? Что у этого кого-то есть ключи от её сейфа, от машины Романа, от архивного шкафа, и он умеет подделывать её почерк перьевой ручкой и обманывать камеру?

Это было бы объяснение. Плохое, но объяснение.

– Ксения Олеговна, – сказала Ира тихо. – Можно я понюхаю?

– Что?

– Помаду. Я не буду трогать. Просто понюхаю.

Ксения хотела сказать «нет», но почему-то кивнула. Ира наклонилась к чашке, задержала дыхание, потом вдохнула осторожно, как пробуют горячий суп.

– Пахнет, – сказала она, выпрямляясь. – Как... у бабушки моей такая была. В коробочке, в патроне таком золотистом. Ленинградская. Пахнет сиренью. И воском.

Роман отошёл к окну и встал там, спиной к ним, глядя во двор.

– Роман Викторович, – сказала Ксения, – ваша тётя никогда не рассказывала вам о Лидии Ветровой?

– Нет, – сказал он, не оборачиваясь. – Я вчера только от вас услышал.

– А ваш дед?

Роман помолчал.

– Дед много чего рассказывал, – сказал он наконец. – Когда пил. А пил он всегда. Я маленький был, я не слушал.

– Он работал в театре?

– Шофёром. Возил декорации. Всю жизнь возил декорации, а потом его выгнали. В восьмидесятых. За пьянку.

Он обернулся, и Ксения увидела, что лицо у него опять растерянное, как вчера в спальне, перед серым пальто.

– Вы меня не спрашивайте, – сказал он. – Я правда ничего не знаю. Я думал, тётка просто старая. Я думал, оставит мне квартиру, я долги закрою, всё. Я не хотел ни в какие истории.

– Я вас ни в чём не обвиняю.

– Да я знаю. – Он сунул руки в карманы. – Просто... Ну, кто это делает? Если это человек, то зачем? А если это не человек, то тогда я вообще не понимаю, что мне делать.

– Ничего, – сказала Ксения. – Пока ничего. Пока мы просто записываем.

Акт подписали все четверо: Ира в этот раз тоже подписала, как присутствующая. Новую ленту наклеили поперёк двери. Новую печать Ксения поставила аккуратно, ровно, круг вышел чётким. На лестнице, проходя мимо подоконника между вторым и третьим этажом, она увидела маленькую чёрную камеру, похожую на пуговицу, прилепленную к стене у рамы.

– Её не трогать, – сказал Роман. – Мало ли.

Дома Ксения, уже вечером, достала из шкафа старую коробку из-под обуви, в которой лежали её дипломы, грамоты, свидетельство о браке, свидетельство о разводе и Сонины детские рисунки. Ей нужен был лист бумаги, на котором она писала от руки лет тридцать назад. Она нашла его: свою студенческую курсовую, первую страницу, переписанную начисто синей ручкой. «Наследование по завещанию в римском частном праве». Почерк был моложе, круглее, но «д» уже тогда была с хвостом, а «л» с петлёй.

Она положила рядом телефон с фотографией сорок седьмой строки. «Три, одна со следом помады».

Почерк был её. Только тот, что в описи, был старше. Точнее, не старше, а... Ксения не могла подобрать слово. Будто кто-то знал её почерк и писал им очень давно, задолго до неё, а она потом научилась так же.

Соня заглянула на кухню, в пижаме, с полотенцем на голове.

– Мам, у тебя тут курсовая? Ты что, заново учиться собралась?

– Нет, просто смотрю.

Соня подошла, взглянула на телефон через её плечо.

– Это что? Опять твои бумажки?

– Опять мои бумажки.

– А почему фиолетовым? – спросила Соня. – Красиво. Как в старых письмах. У нас в студии такая ручка есть, перьевая, на реквизит. Её в «Чайке» Тригорин будет держать, он же писатель.

Ксения выключила экран.

– Иди спать, Соня.

– Ещё девять часов.

– Тогда иди читай «Чайку».

– Я уже наизусть знаю, – сказала Соня обиженно и ушла, оставив за собой запах шампуня.

Ксения долго сидела на кухне. Потом взяла лист бумаги и написала на нём сверху: «Что я знаю». И ниже, по пунктам, своим обычным почерком, синей ручкой:

«Первое. Заруцкая завещала квартиру Лидии Ветровой, пропавшей пятнадцатого ноября семьдесят четвёртого года, а на случай её смерти – её дочери.

Второе. Ветрова была актрисой, играла Нину Заречную в «Чайке». Премьера – четырнадцатого ноября семьдесят четвёртого.

Третье. С пятнадцатого ноября Ветрову никто не видел. Уход из театра оформлен двадцатого декабря. Розыск объявлен в марте.

Четвёртое. Опись меняется сама. Каждую ночь одна строка. Правка внесена моим почерком, фиолетовыми чернилами. Вещь в квартире меняется вслед за описью.

Пятое. Часы – двадцать три сорок. Чашки – три. Двое гостей. Одна гостья – с красной помадой. Помада пахнет сиренью и воском.

Шестое. Заруцкая не красилась».

Она перечитала список. Подумала и добавила седьмой пункт, сама не понимая зачем:

«Седьмое. В розыскной заметке сказано: была одета в красное пальто».

Она долго смотрела на этот седьмой пункт. Красное пальто. В шкафу у Заруцкой, в спальне, рядом с серым мужским пальто её брата, висела пустая деревянная вешалка. Ксения помнила её очень ясно, потому что сама велела Ире записать: «Вешалка деревянная, пустая». Тогда это показалось ей просто старушечьей аккуратностью: вешалка освободилась, а убрать её некому. Теперь она думала о том, что у такой женщины, как Заруцкая, у которой перчатки лежали пальчик к пальчику и ботики стояли носок к носку, ничего не бывает просто так. Пустая вешалка в шкафу – это место, которое кто-то держит свободным. Пятьдесят лет держит.

Ксения сложила лист вдвое и убрала его в сумку, в отделение для документов, рядом с паспортом. Она не знала, кому и когда покажет этот список. Может быть, никому. Но она

привыкла, что всё, что записано, существует, а всё, что не записано, можно потом отрицать. Сегодня ей впервые не хотелось ничего отрицать.

Она заглянула к Соне. Дочь спала, раскинувшись поперёк кровати, как спала с младенчества, с одной ногой поверх одеяла, а на полу у кровати лежала раскрытая книжка, «Чайка», в мягкой обложке, с загнутыми уголками страниц. Ксения подняла её, разгладила загнутые уголки и положила на тумбочку. На раскрытой странице было подчёркнуто карандашом, неровно, с нажимом: «Я – чайка. Нет, не то. Я – актриса». Ксения постояла, глядя на эту строчку, потом укрыла Сонину ногу одеялом и вышла, тихо прикрыв дверь.

Потом она пошла в комнату, легла и, прежде чем погасить свет, поставила будильник на три часа десять минут.

Глава 4. Племянник

Будильник прозвонил в три десять, и Ксения выключила его раньше, чем он успел разбудить Соню за стеной. Она села на кровати в темноте, укрыв ноги одеялом, и смотрела на телефон, на котором цифры менялись медленно, будто нехотя.

Три двенадцать. Три тринадцать. Три четырнадцать.

Ничего не случилось. Не дрогнул свет фонаря на потолке, не скрипнула половица, не пахнуло сиренью. В квартире на Лесной было тихо, только гудел холодильник на кухне да капала вода из крана в ванной, который давно надо было починить. Ксения посидела до трёх двадцати, чувствуя себя глупо, и легла.

Утром в воскресенье она съездила в контору. Опись лежала в сейфе. Сорок первая строка, тридцать восьмая, сорок седьмая – с фиолетовыми правками, как вчера. Больше ничего. Ни одной новой строки.

Она перелистала все девять листов дважды, потом третий раз, медленнее, проверяя каждую букву, и ничего не нашла. Ксения поймала себя на том, что чувствует не облегчение, а что-то похожее на досаду, и разозлилась на себя за это.

В воскресенье днём они с Соней, как всегда, поехали к матери.

Галина Петровна жила в двух остановках, в пятиэтажке на улице Гагарина, в той же квартире, где Ксения выросла. Ей было восемьдесят два года, она тридцать восемь лет преподавала русский язык и литературу в двадцать шестой школе, и половина взрослого Тесова, встречая её на улице, до сих пор называла её «Галина Петровна» с той интонацией, с какой называют учительниц, которых боялись и любили одновременно. После смерти отца, пятнадцать лет назад, мать не захотела переезжать к Ксении. «Я привыкла к своим стенам, – сказала она тогда. – А ты привыкай к своим».

Она открыла дверь в фартуке, пахнущая тестом и луком, маленькая, прямая, с седыми волосами, собранными в узел, и сразу сказала Соне:

– Ты опять без шапки.

– Ба, сейчас никто не носит шапки.

– Сейчас никто не носит голову, – сказала Галина Петровна. – Раздевайтесь, пироги через пять минут.

Пироги были с капустой и с яйцом, и с рисом, и ещё один, сладкий, с яблоками. Соня ела и рассказывала про студию: «Чайку» начинают репетировать в декабре, на роль Нины пробуются трое, а режиссёр студии, Ольга Витальевна, сказала Соне, что у неё «правильная шея».

– Правильная шея, – повторила Галина Петровна. – Это что значит?

– Это значит, что у меня шея длинная, как у Нины Заречной, – сказала Соня. – Нина же как чайка. Ну, это образ такой.

– Шея у тебя в деда, – сказала Галина Петровна, и Ксения заметила, что мать на секунду отвела глаза. – У Олега тоже была длинная шея. Его в армии гусём звали.

– Ба, а дед играл в театре?

– Дед играл в шахматы, – сказала Галина Петровна. – И проигрывал мне. Ешь.

После обеда, когда Соня ушла в бывшую комнату Ксении смотреть старые фотографии, мать налила чай и посмотрела на Ксению поверх очков.

– Ты не спишь, – сказала она. Это был не вопрос.

– Сплю.

– Не спишь. У тебя под глазами синяки, и ты третий раз помешиваешь чай без сахара. Что-то на работе?

Ксения подумала, что матери, наверное, можно было бы рассказать. Мать никогда не верила ни в бога, ни в гороскопы, ни в домовых, и, когда соседка по даче рассказывала ей про

сглаз, она отвечала: «Наташа, у тебя не сглаз, у тебя давление». Мать бы выслушала, подняла бы брови и сказала бы что-нибудь точное и обидное.

Но рассказать было невозможно. Что рассказать? Что у неё в сейфе сама собой правится опись? Что в пустой квартире на Красных Зорь появилась чашка со следом помады?

– Наследственное дело, – сказала Ксения. – Сложное. Старушка умерла, завещала квартиру женщине, которая пропала пятьдесят лет назад. Актрисе из нашего театра. Ветровой. Ты не помнишь такую?

Галина Петровна поставила чашку на блюдце. Аккуратно, без звука.

– Нет, – сказала она. – Я в театр мало ходила. Ты же знаешь, я больше книги.

– Она играла Нину Заречную. В семьдесят четвёртом.

– В семьдесят четвёртом, – сказала мать, – мне было не до театров. У нас тогда... у нас было много хлопот.

Она встала и пошла к плите, хотя на плите ничего не стояло. Ксения смотрела ей в спину. Мать стояла у плиты, держась одной рукой за край, и молчала.

– Мам?

– Чайник остыл, – сказала Галина Петровна. – Я подогрею.

Чайник не остыл, но она его подогрела, и потом они говорили о Сониной школе, о ценах на лекарства и о том, что соседка Наташа опять поругалась с зятем. Ксения не стала спрашивать снова. Она слишком хорошо знала мать: если та чего-то не хотела говорить, вытащить из неё слово было невозможно, как невозможно было в детстве выпросить у неё конфету до обеда.

Вечером позвонил Роман и попросил встретиться.

Они встретились в понедельник утром, в кафе напротив конторы, в половине девятого. Роман пришёл в той же кожаной куртке, но побритый, и это делало его моложе и почему-то беззащитнее. Он заказал двойной кофе и долго мешал его, не пробуя.

– Я хочу, чтобы вы знали, – сказал он наконец. – Ну, чтобы потом не думали. У меня долги.

– Я догадывалась.

– Да все догадываются. – Он усмехнулся. – Я три года назад открыл автосервис. На Заводской, знаете, где раньше склады были. Взял кредит, потом ещё один, потом у людей взял. А потом напарник ушёл и забрал клиентов. Сервис я закрыл, а долги остались. Миллион двести у банка и ещё шестьсот у людей. Люди нехорошие. Ну, вы понимаете.

– Понимаю.

– Тётка знала. Я к ней приходил весной, просил. Думал, у неё на книжке что-то есть, она же сорок лет работала, ничего не тратила. А она мне говорит: «У меня, Рома, есть только то, что не моё». Я тогда разозлился, хлопнул дверью. Больше не приходил. А в сентябре она мне позвонила сама, сказала: «Приходи, я тебе пирог испеку». А я не пошёл. – Он отпил кофе и поморщился, будто обжёгся. – Не пошёл, понимаете? Занят был. А в ноябре она умерла.

Ксения молчала. Она знала, что в такие минуты люди не ждут ответа.

– Я не за этим пришёл, – сказал Роман, будто очнувшись. – Не за жалостью. Я пришёл, потому что вчера мне позвонили. Насчёт квартиры.

– Кто?

– Мужик. Вежливый такой, голос как у диктора. Сказал, что он представляет фирму «Тесьстрой» и что фирма готова купить у меня квартиру по улице Красных Зорь, дом девять, квартира четырнадцать, за четыре с половиной миллиона наличными. Сразу, как только я вступлю в наследство. А если хочу, они дадут мне аванс, прямо сейчас, под расписку. Полмиллиона.

– Откуда они знают, что вы наследник?

– Вот и я спросил. А он говорит: «Роман Викторович, город у нас маленький». И смеётся.

Ксения поставила свою чашку.

– «Тесьстрой» – это Сабуров?

– Игорь Сабуров. Вы его знаете?

– Знаю, кто это.

Город действительно был маленький. Игорь Павлович Сабуров был в Тесове человеком, которого знали все и о котором мало кто говорил вслух. Его фирма строила торговые центры, жилые комплексы, многоэтажные гаражи, ремонтировала мосты и асфальтировала дороги. Его отец, Павел Гордеевич, был когда-то главным режиссёром драмтеатра, потом почётным гражданином, потом депутатом областной думы, а теперь, в старости, просто живой легендой, к которому на юбилей приезжал губернатор. Сыну это помогало.

– Зачем ему одна квартира в старом доме? – сказала Ксения вслух.

– Не одна, – сказал Роман. – Я узнал. У них проект. Весь квартал от театра до парка. Там будет комплекс, «Тесовская набережная», с апартаментами, с подземной парковкой. Дома на Красных Зорь они хотят выкупить и снести. Седьмой уже почти выкупили, в девятом осталось шесть квартир. Тёткина – одна из них. И Летний театр в парке сносят, там у них будет набережная с кафе. Там и решение уже есть, в администрации.

– Вы согласились?

Роман посмотрел на неё с обидой.

– Я сказал, что подумаю. Мне шестьсот тысяч людям надо отдать до Нового года. Вы знаете, что они делают, если не отдать? – Он помолчал. – Но я не взял аванс. Не знаю почему. Наверное, потому что вчера стоял там, в комнате, смотрел на эту чашку с помадой. И подумал, что тётка меня с того света достанет, если я её квартиру Сабуровым продам.

– Почему именно Сабуровым?

– А я не знаю, – сказал Роман, и сам, кажется, удивился своим словам. – Она их не любила. Когда старый Сабуров по телевизору выступал, она выключала. Однажды при мне. Я маленький был, лет десять. Она выключила телевизор и сказала деду: «Витя, я не могу на него смотреть». А дед ей: «Ну и не смотри, Женя, никто тебя не заставляет». И налил себе.

В десять часов, когда Роман уже ушёл, а Ксения принимала первых посетителей – супружескую пару, оформлявшую дарение дачи дочери, – Ира заглянула в кабинет и сказала странным голосом:

– Ксения Олеговна, к вам. Без записи. Говорит, по делу Заруцкой.

– Пусть подождёт.

– Он не хочет ждать. Он уже сидит.

Мужчина в приёмной действительно уже сидел – на диване, где обычно ждали посетители, в длинном тёмном пальто, расстёгнутом, с белым шарфом. Ему было под пятьдесят, он был крупный, широкоплечий, седина на висках, загорелое лицо человека, который часто бывает в тёплых странах, и дорогие часы на запястье. Когда Ксения вышла, проводив дачную пару, он встал и улыбнулся. Улыбка была широкая и неприятно знакомая: Ксения видела её на рекламных щитах вдоль всей Московской улицы.

– Ксения Олеговна, – сказал он, протягивая руку. – Сабуров. Игорь Павлович. Простите, что без записи. Я на пять минут.

Ксения пожала руку. Рука была тёплая и сухая.

– Проходите.

В кабинете он не сел, а встал у окна и посмотрел на Соборную, на троллейбусы, на купол собора за деревьями.

– Хороший у вас вид, – сказал он. – Я в этом доме мальчишкой бывал. Тут была детская библиотека. Вон там, где сейчас ваш архив, стоял стол с журналами «Пионер».

– Чем могу помочь, Игорь Павлович?

Он повернулся.

– Я по поводу квартиры на Красных Зорь. Евгении Аркадьевны Заруцкой. Вы ведёте наследственное дело.

– Веду.

– Я знаю, что там есть завещание. Знаю, в чью пользу. – Он развёл руками, как бы извиняясь. – Город маленький. Ну, неважно. Ксения Олеговна, давайте я буду говорить прямо. Мне эта квартира нужна. Не мне лично – проекту. Вы, наверное, слышали, мы строим набережную. Это большое дело для города, рабочие места, налоги, туристы. Дом девять в проекте под реконструкцию. Шесть квартир осталось. Остальные пять владельцев уже согласны. Одна – вот эта.

– Квартира принадлежит наследникам Заруцкой.

– Конечно. И я понимаю, что в завещании указана некая Ветрова. – Он произнёс фамилию легко, будто впервые её слышал, но Ксения заметила, что произнёс он её раньше, чем она успела назвать. – Которую, насколько я понимаю, никто не видел с советских времён. Её, скорее всего, нет в живых. Детей у неё, насколько я знаю, нет. Значит, рано или поздно квартира достанется племяннику. Роману. С Романом я договорюсь.

– Тогда зачем вы пришли ко мне?

Сабуров снова улыбнулся.

– Затем, что «рано или поздно» – это может быть полгода, а может быть три года. Розыск наследника, суды, признание умершей. Вы же знаете, как это бывает. А у меня проект. Я пришёл попросить вас... нет, не попросить. Посоветоваться. Может быть, есть способ ускорить. Законный, конечно. Я ничего незаконного не предлагаю.

– Законный способ – подождать шесть месяцев, – сказала Ксения. – Если за это время наследница или её потомки не объявятся, то дальше решает суд. Я не могу ускорить это ни на день.

– Понимаю. – Он кивнул, всё так же улыбаясь. – А розыск наследницы? Вы ведь его ведёте?

– Это моя обязанность.

– И как успехи?

– Я не обсуждаю ход дела с посторонними, Игорь Павлович.

Он посмотрел на неё внимательно. Улыбка не сошла с его лица, но глаза стали другими – цепкими, как у человека, который рассматривает не лицо, а цену.

– Конечно, – сказал он. – Простите. Я и не прошу. Я просто хочу сказать, что если вам понадобится какая-то помощь – машина, люди, доступ в архивы, я знаю, у нас в архивах бардак, – вы мне позвоните. – Он положил на стол визитку. Плотную, белую, с серебряными буквами. – Мой отец, кстати, знал эту Ветрову. Они вместе работали. Он говорит, она уехала. Тогда многие уезжали, кто куда. Кто в Москву, кто дальше.

– Дальше – это куда?

– Ну, вы же понимаете, – сказал Сабуров. – В семьдесят четвёртом году. Отец говорит, она собиралась за границу, к какому-то иностранцу. Была у них такая история в театре. Её и искать бесполезно.

Он застегнул пальто, поправил шарф.

– Был рад знакомству, Ксения Олеговна. Отец, кстати, будет рад вас увидеть, если захотите узнать что-нибудь про театр. Он любит рассказывать. Ему семьдесят шесть, а память как у молодого.

Когда дверь за ним закрылась, Ира вошла в кабинет, не постучав, и закрыла за собой дверь.

– Это что сейчас было?

– Это был Игорь Сабуров.

– Я знаю, кто это был. Я спрашиваю, что это было. Он же вам угрожал.

– Нет, – сказала Ксения. – Он предлагал помощь.

– Вот я и говорю – угрожал.

Ксения взяла визитку двумя пальцами, повертела и бросила в ящик стола.

– Ира, – сказала она, – он назвал фамилию Ветровой до того, как я её сказала. И он знает, что детей у неё нет. По базам их действительно нет. Но откуда он знает, что я смотрела базы?

Ира помолчала.

– Может, просто сказал? Наугад?

– Может быть.

Остаток дня прошёл в обычной работе: доверенности, согласия на выезд детей за границу, ещё одно наследственное дело, в котором трое внуков делили гараж. Ксения работала механически, ставила подписи, сверяла паспорта, объясняла, где расписаться, и всё время думала о двух вещах. О том, как мать стояла у плиты, держась рукой за край. И о том, как Игорь Сабуров сказал «за границу» – легко, как говорят о погоде.

Вечером, закрывая контору, она открыла сейф и, постояв минуту, взяла опись Заруцкой и положила её в сумку.

Это было нарушение. Подлинные документы наследственного дела не уносят домой. Если бы кто-нибудь из коллег узнал, ей бы сделали замечание, а при плохом раскладе – и выговор. Ксения двадцать лет не нарушала этого правила ни разу, даже когда приходилось работать до ночи.

Но сейф не давал ответа. Сейф только показывал утром то, что случилось ночью. А ей нужно было увидеть, как это случается.

Дома она положила опись на кухонный стол, под лампу, раскрыла на последнем листе, на спальне, а сверху положила все остальные листы веером, чтобы видеть начало каждой страницы. Заварила крепкий чай. Соня ушла спать в одиннадцать, перед этим постояв в дверях кухни и сказав: «Мам, ты странная», и Ксения ответила: «Да».

В час ночи она перечитала опись целиком, все сто двенадцать строк, вслух, шёпотом. В два ночи она поймала себя на том, что засыпает, и пошла умыться холодной водой. В три ночи она сидела за столом, держа чашку обеими руками, и смотрела на бумагу так пристально, что строки начинали плыть.

В три часа четырнадцать минут лампа над столом не мигнула. Ничего не скрипнуло, никто не постучал. Просто на листе со спальней, на сто четвёртой строке, где было напечатано: «Вешалка деревянная, пустая», появилась тонкая фиолетовая линия.

Ксения видела, как она появляется. Не сразу, не целиком, а так, как появляется линия под пером: слева направо, с лёгким утолщением в начале, где перо коснулось бумаги, и с тоненьким хвостиком в конце, где оно оторвалось. Слово «пустая» оказалось зачёркнутым.

Потом над строкой, мелко, наклонно, той самой рукой, которая была её рукой, проступили буквы. Одна за другой. «Пальто». Пауза – будто пишущий макнул перо в чернильницу. «Женское, драповое, красное». Ещё пауза. «С поясом».

Ксения не дышала.

Перо – невидимое, несуществующее – поставило точку. И всё.

Она сидела, не шевелясь, наверное, минуту. Потом медленно протянула руку и коснулась строки кончиком пальца. Чернила были влажные. На подушечке осталось фиолетовое пятнышко, крошечное, как от школьной ручки.

Ксения посмотрела на палец. Потом на окно, за которым в свете фонаря медленно падал снег. Потом взяла телефон и, не думая о том, что сейчас три часа ночи, набрала Иру.

Ира взяла трубку после первого гудка.

– Я тоже не сплю, – сказала она вместо «алло». – Что там?

– Красное пальто, – сказала Ксения. – В шкафу. На пустой вешалке.

Ира помолчала.

– Как в розыске, – сказала она наконец. – Была одета в красное пальто.

– Да.

– Ксения Олеговна, а ведь если она в нём ушла, то как оно оказалось в шкафу?

Ксения ничего не ответила. Она смотрела на фиолетовое пятнышко на своём пальце и думала, что завтра, точнее уже сегодня, ей придётся сделать то, чего она никогда не делала: провести ночь в квартире покойной.

Глава 5. Красное пальто

Во вторник утром пальто висело в шкафу.

Ксения открыла резную дверцу сама, при свидетелях, с актом в руке, и первое, что она увидела, был цвет. Не алый и не вишнёвый, а тот красный, какой бывает у рябины после первого мороза: густой, тёмный, с синевой в глубине складок. Пальто висело на деревянной вешалке рядом с серым мужским пальто Виктора Заруцкого, и рядом с ним всё остальное в шкафу – тёмные платья, юбки, кофты – казалось выцветшим, как на старой фотографии.

– Господи, – сказала Клавдия Семёновна у неё за спиной.

Роман ничего не сказал. Он стоял в дверях спальни и смотрел на пальто так, будто ждал, что оно сейчас пошевелится.

Ксения не стала трогать его руками. Она отодвинула соседнее платье кончиком ручки и рассмотрела. Драп, плотный, хорошего качества. Воротник отложной, без меха. Пуговицы большие, обтянутые той же тканью, пять штук. Пояс из той же ткани, завязан на узел, свободно висит. Пальто было длинное, ниже колен, приталенное, сшитое на высокую, очень худую женщину. На правом плече, у шва, ткань была чуть светлее – выгорела, как выгорает от солнца, если пальто долго висит у окна. Или если в нём долго ходят.

– Это сшито на заказ, – сказала Клавдия Семёновна неожиданно. Все обернулись. – Ну, я вижу. Я в ателье двадцать лет проработала приёмщицей. Смотрите, какие вытачки. И подкладка шёлковая. Такое в магазине не купишь было. Это хорошая портниха шила.

– Заруцкая?

– А кто ж ещё. Она в театре всем шила. И актрисам на сторону тоже.

Ксения записала в акт: «В шкафу платяном, на вешалке деревянной, ранее описанной как пустая, обнаружено пальто женское, драповое, красного цвета, с поясом». Перечитала, подумала и добавила: «Пальто ранее в квартире не находилось, что подтверждают все присутствующие». Все расписались.

– Карманы, – сказала Ира тихо. – Ксения Олеговна, карманы надо посмотреть.

– Нет.

– Почему?

– Потому что это не наше пальто, – сказала Ксения и сама услышала, как странно это звучит. – Оно описано. Мы его не трогаем.

Она сама не знала, почему не хочет прикасаться к этому пальто. Может быть, потому что тогда пришлось бы признать, что оно настоящее. Пока оно висело в шкафу, оно было строчкой в описи, фиолетовыми словами. Если сунуть руку в карман, оно станет вещью, которую носила женщина, исчезнувшая полвека назад.

Они вышли на площадку, наклеили новую ленту. Клавдия Семёновна ушла к себе, держась за перила. Роман закурил на лестнице, не обращая внимания на табличку.

– Я хочу остаться там ночью, – сказала Ксения.

Роман чуть не выронил сигарету.

– Чего?

– Я хочу видеть, что происходит в квартире в три часа четырнадцать минут.

– А что происходит в три четырнадцать?

Ксения объяснила. Про то, как вчера на кухне у неё на глазах проступила строка. Про влажные чернила на пальце. Роман слушал, не перебивая, и сигарета у него догорела до фильтра.

– Вы понимаете, что это бред? – сказал он, когда она закончила.

– Понимаю.

– И вы хотите туда ночью?

– Да.

– Это законно вообще? Вы же нотариус. Вы сами говорили, входить нельзя.

– Входить можно в присутствии нотариуса и с ведома хранителя, – сказала Ксения. – Хранитель – Клавдия Семёновна, я её спрошу. А нотариус – это я. Я составлю акт о том, что осматриваю имущество для обеспечения его сохранности. Это натяжка, но не нарушение.

– Я с вами, – сказала Ира быстро.

– Ты не обязана.

– Я знаю, что не обязана. Я с вами.

Роман посмотрел на одну, на другую, вздохнул и бросил окурок в банку из-под кофе, которую кто-то из жильцов поставил на подоконник для этой цели.

– Я тоже, – сказал он. – Это моя тётка. Ну, наша. В общем, я тоже.

Клавдия Семёновна, когда Ксения спустилась к ней на второй этаж, сначала долго молчала, потом вздохнула и сказала:

– Ночуйте. Только свет не гасите. И это... чайник свой возьмите. Её чайник не трогайте.

Они пришли в одиннадцать вечера. Ира принесла термос, плед, пакет с бутербродами и маленький фонарик на резинке, который надевался на голову. Роман принёс раскладной стул и бутылку коньяка, которую Ксения у него сразу отобрала и поставила в прихожей. Ксения принесла свою опись, ручку, бланки актов и ничего больше.

Печать сняли, акт составили. Клавдия Семёновна постояла в дверях, посмотрела на них троих, перекрестила почему-то только Иру и ушла к себе.

В квартире ночью было не так, как днём.

Днём это была просто старая квартира, заставленная старой мебелью, где пахло нафталином и валерьянкой. Ночью, при жёлтом свете люстры с тремя рожками, она стала глубже. Потолки ушли вверх, в темноту, куда свет не доставал. Тени в углах сгустились. Фотографии на стенах, на которых днём были просто люди в гриме, смотрели теперь все в одну сторону – на круглый стол с тремя чашками. Часы над диваном молчали, стрелки показывали двадцать три сорок, и от этого казалось, что в квартире всё время двадцать три сорок, что время здесь стоит, а они трое вошли в него, как в воду.

Ксения села в кресло у швейной машинки – то самое, в котором, как сказала Клавдия Семёновна, нашли Заруцкую. Она не сразу поняла, что это то кресло, а когда поняла, вставать было уже глупо. Ира устроилась на диване, укутавшись в плед. Роман разложил стул в дверях спальни, откуда был виден шкаф.

– Будем дежурить по очереди? – спросила Ира.

– Будем все, – сказала Ксения. – Время ещё есть.

Они разговаривали шёпотом, хотя никто не просил говорить шёпотом. Ира рассказывала про свою бабушку, которая гадала на кофейной гуще и однажды предсказала деду инфаркт, и дед, назло ей, прожил ещё двадцать лет. Роман рассказывал про автосервис, про то, как к нему однажды пригнали машину, в которой под сиденьем оказалась живая черепаха, и как он её полгода кормил капустой, а потом отдал в зоопарк. Ксения слушала и смотрела на часы в телефоне.

Около полуночи она встала и обошла стены с фотографиями. Днём, при описи, она записала их коротко: «фотографии в рамках, чёрно-белые, театральные, двадцать три штуки». Теперь она рассматривала каждую. Мужчины в камзолах и с наклеенными бородами. Женщины в кринолинах, в платках, в военных гимнастёрках. Групповые снимки после премьер: труппа на сцене, впереди – цветы, сзади – задник с нарисованным лесом. На многих снимках с краю, сбоку, почти за кулисой, стояла одна и та же невысокая женщина в тёмном халате, с сантиметром на шее и с подушечкой для булавок на запястье. Она никогда не смотрела в объектив. Она смотрела на актёров, и лицо у неё было такое, будто она проверяет, ровно ли лежит подол.

– Это она, – сказала Ира, подойдя сзади. – Евгения Аркадьевна. Молодая.

– Да.

На снимках пятидесятых годов Заруцкая была совсем молодой, с косой, уложенной вокруг головы. На снимках начала семидесятых – уже женщиной, худой, с острым подбородком. На всех последующих её не было. Ксения прошла вдоль стены ещё раз и убедилась: после семьдесят четвёртого года, судя по названиям спектаклей, подписанным на паспарту выцветшими чернилами, костюмерша ни разу не встала даже с краю кадра.

– Она перестала фотографироваться, – сказала Ксения.

– Или перестала выходить на сцену, – сказала Ира. – Клавдия Семёновна же говорила. Только шила в цеху.

Над комодом висело пустое место. Не пустая рамка, а светлый прямоугольник на обоях, чуть выгоревших вокруг, и гвоздик посередине. Ксения посмотрела на него и вспомнила, что одна фотография стояла на комоде, а не висела. Она её описала: «фотография в деревянной рамке, на подставке, изображение – букет сирени в вазе». Букет сирени. Зачем вешать на стену снимок с цветами, а потом снимать его и ставить на комод?

В половине первого Ира пошла на кухню налить чаю из термоса и вернулась бледная.

– Там холодильник выключился, – сказала она.

– Ну и что? – сказал Роман. – Старый, вот и выключился. Они сами отключаются, когда холодно.

– Он гудел, – сказала Ира. – Всё время гудел, как пароход. А сейчас не гудит.

Ксения пошла на кухню сама. «ЗИЛ» стоял молча, белый, с хромированной ручкой, похожей на ручку старого автомобиля. Она открыла его. Внутри горела лампочка, было холодно, на полке стояла банка с солёными огурцами и пакет молока, давно скисшего. Она закрыла дверцу, и холодильник вдруг вздрогнул и загудел снова, так громко, что Ира в коридоре вскрикнула.

– Просто реле, – сказала Ксения. – Он так работает.

Ей очень хотелось в это верить.

В два часа ночи Роман задремал на своём стуле, свесив голову на грудь. Ира держалась, но клевала носом, и каждый раз, когда её голова опускалась, она вздрагивала и шептала: «Я не сплю, я не сплю». Ксения не спала. Она сидела в кресле Заруцкой, держала на коленях раскрытую опись и смотрела на сто четвёртую строку, где фиолетовым было написано: «Пальто женское, драповое, красное, с поясом».

В квартире становилось холодно. Сначала Ксения решила, что это от неподвижности, что кровь застаивается, когда сидишь долго. Потом заметила, что Ира натянула плед до подбородка и что изо рта у неё, когда она зевнула, вышло лёгкое облачко пара. Батарея под окном была горячей, Ксения проверила рукой. Но от окна, заклеенного газетой, тянуло холодом, как от открытой форточки, и холод был не уличный, мокрый, ноябрьский, а сухой и острый, каким он бывает в настоящие морозы.

– Роман, – позвала она тихо. – Роман Викторович.

Он вскинул голову.

– Я не сплю.

– Три часа.

Он посмотрел на телефон, потёр лицо ладонями и встал. Ира тоже села на диване ровно, сбросив плед на колени.

– Холодно, – сказала она. – Вы чувствуете? Почему так холодно?

Никто ей не ответил.

Три часа десять минут. Три часа двенадцать.

Ксения встала с кресла и пошла в спальню, к шкафу. Роман посторонился, пропуская её. Ира пошла следом, держа в руке свой фонарик, но не включая его. Свет в спальне горел, маленькая лампа на тумбочке у кровати под зелёным абажуром.

Ксения открыла шкаф.

Красное пальто висело на вешалке, как днём. Только сейчас, при свете лампы, оно казалось темнее, почти бордовым. И пахло. Ксения не замечала этого днём, а сейчас запах шёл из шкафа волной: мокрый драп, будто пальто только что внесли с улицы, где шёл снег, и ещё духи, сладкие, тяжёлые, с горьким хвостом, и что-то третье, чего она не могла назвать.

– Сирень, – прошептала Ира. – Это та же помада. И «Красная Москва». У бабушки были такие духи.

Три часа тринадцать.

Ксения держала опись раскрытой на сто четвёртой строке. Она держала её так крепко, что бумага смялась под пальцами.

Три часа четырнадцать.

Сначала пальто качнулось. Совсем чуть-чуть, как качается одежда на вешалке, когда рядом открыли дверь. Но двери никто не открывал, и воздух в спальне стоял неподвижно. Пальто качнулось, и правый карман его – большой, накладной, с клапаном – оттопырился. Будто кто-то сунул в него руку и вынул, оставив что-то внутри.

Послышался шорох. Тихий, бумажный, как шуршит конверт или картонка.

И одновременно Ксения почувствовала, как под пальцами у неё шевельнулась бумага. Она опустила глаза. На сто четвёртой строке, после слов «с поясом», мелко и наклонно, фиолетовыми буквами проступало дальше: «В правом кармане – два билета».

Ира тихо охнула.

Роман сделал шаг назад, упёрся спиной в трюмо, и в зеркале за его спиной на секунду отразились они трое и шкаф с открытой дверцей. И в этом отражении, Ксения потом готова была поклясться, пальто в шкафу было надето на кого-то. Плечи были не вешалкой, а плечами, а пояс был завязан на тонкой талии.

Она моргнула, и в зеркале было просто пальто.

Строка дописалась. Перо поставило точку. В спальне стало теплеть – сразу, быстро, будто кто-то закрыл невидимую форточку. На кухне снова загудел «ЗИЛ».

Никто ничего не говорил. Потом Роман сказал хрипло:

– Вы это видели?

– Видела, – сказала Ксения.

– В зеркале. Вы видели в зеркале?

– Видела.

Ира стояла, обхватив себя руками, и мелко дрожала. Не от страха, поняла Ксения, или не только от страха. Глаза у неё горели.

– Надо посмотреть, – сказала Ира. – Ксения Олеговна, теперь надо посмотреть. Это же не просто так. Нам показали, где искать.

Ксения долго молчала. Потом передала опись Ире, достала из кармана тонкие резиновые перчатки, которые носила с собой для осмотра вещей, и надела их. Пальцы плохо слушались.

Она отогнула клапан правого кармана. Внутри было темно, ткань подкладки шёлковая, холодная. Она нащупала что-то плоское, твёрдое, размером с половину спичечного коробка. Два. Вынула.

Это были билеты.

Не бумажные, как сейчас, а картонные, плотные, маленькие прямоугольники, какие продавали в советских железнодорожных кассах. Ксения видела такие только в детстве, в коробке из-под конфет, где отец хранил квитанции и старые пропуска. Картон желтоватый, на нём – типографский текст и цифры, пробитые компостером.

Ира включила наконец свой фонарик на лбу и наклонилась.

– Читайте, – прошептала она. – Я не могу, у меня руки трясутся.

Ксения прочитала. Медленно, вслух.

– «Министерство путей сообщения. Плацкартный. Поезд сто двенадцать. Тесов – Ленинград. Отправление пятнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года, шесть часов двадцать минут. Вагон седьмой. Место двадцать третье. Полный».

Она перевернула второй билет.

– «Поезд сто двенадцать. Тесов – Ленинград. Пятнадцатое ноября семьдесят четвёртого. Вагон седьмой. Место двадцать четвёртое». – Она остановилась. – «Детский».

В спальне стало тихо.

– Детский, – повторил Роман. – Это как – детский?

– Детский билет, – сказала Ксения. – Для ребёнка до десяти лет. Половина стоимости.

– У неё что, был ребёнок?

Никто не ответил. Ксения стояла, держа два картонных прямоугольника в резиновых перчатках, и смотрела на цифру «24». Детское место. Нижняя полка, наверное. Или верхняя, если мать решила взять себе нижнюю, чтобы держать ребёнка рядом, а на верхнюю сложить вещи.

– Она собиралась уехать, – сказала Ира шёпотом. – Пятнадцатого утром. В шесть двадцать. С ребёнком. А в розыске написано: пятнадцатого ушла из дома и не вернулась. И была одета в красное пальто.

– А пальто здесь, – сказал Роман. – Пальто здесь, и билеты в нём. Значит, она не уехала.

– Значит, не уехала, – сказала Ксения.

Она убрала билеты в прозрачный файл, который всегда носила с собой для документов, и поймала себя на том, что делает это так же, как делала бы с доверенностью или с паспортом: аккуратно, не перегибая, ровно по краю. Это помогало. Руки делали знакомое, а голова в это время могла думать.

Двадцать три сорок – часы. Две чашки из буфета, одна со следом красной помады. Красное пальто, сшитое Заруцкой. Два билета на утренний поезд в Ленинград, взрослый и детский.

Лидия Ветрова пришла сюда вечером четырнадцатого ноября, после премьеры. В красном пальто, с красной помадой на губах. Она пила чай с Заруцкой – и с кем-то ещё, потому что на столе было три чашки. Она собиралась утром уехать с ребёнком. А в двадцать три сорок остановились часы.

И пальто осталось здесь.

– Ксения Олеговна, – сказал Роман, – вы теперь в полицию пойдёте?

– Пойду.

– И что вы им скажете? Что пальто само появилось?

Ксения сняла перчатки, свернула их и положила в карман.

– Я скажу, что в квартире умершей Заруцкой при осмотре обнаружены вещи, возможно, принадлежавшие гражданке Ветровой, пропавшей без вести в тысяча девятьсот семьдесят четвёртом году. Это правда. Остальное – не их дело.

– А если они спросят, почему вы их раньше не нашли? При описи?

– Тогда я скажу, что плохо смотрела, – сказала Ксения. – Двадцать лет смотрела хорошо, а в этот раз плохо.

Роман засмеялся. Тихо, нервно, но засмеялся. Ира тоже. И Ксения вдруг почувствовала, что и сама улыбается, стоя в спальне покойной старухи в четыре часа ночи с двумя полувековыми билетами в прозрачном файле.

Они не стали дожидаться утра. Составили акт, подписали втроём, позвали Клавдию Семёновну, которая не спала и открыла дверь сразу, будто стояла за ней. Клавдия Семёновна прочитала акт, посмотрела на билеты в файле, ничего не спросила и расписалась.

Новую ленту наклеили в половине пятого. Когда Ксения ставила печать, она услышала из квартиры, сквозь дерматин, сквозь две двери, отчётливый звук. Будто кто-то повесил плечики на перекладину шкафа, тихонько, деревом о дерево.

Она не сказала об этом никому.

Дома она долго стояла под горячим душем, пока не перестали дрожать руки. Потом сварила себе кофе, хотя было пять утра и спать оставалось всего два часа, и села на кухне у окна. За окном было темно, по Цветочной проехала первая снегоуборочная машина, мигая оранжевым. Ксения думала о пальто. О том, что оно висело в шкафу так, будто его повесили вчера вечером, вернувшись с мороза. О выгоревшем плече. О том, что женщина, которая в нём ходила, была высокой и очень худой. И о том, что пятьдесят лет назад эта женщина купила два билета до Ленинграда – взрослый и детский – и не поехала.

Детский, подумала Ксения. Кому?

Она допила кофе и не нашла ответа. Ответ пришёл гораздо позже.

Глава 6. Капитан Мальцев

Отдел уголовного розыска городского управления полиции помещался в здании, которое в Тесове все называли «серым домом», хотя оно давно было выкрашено в бежевый. Четыре этажа, колонны у входа, решётки на окнах первого этажа и турникет в вестибюле, у которого сидел сержант с лицом человека, уставшего от людей ещё до обеда.

Ксения пришла туда в среду, в одиннадцать утра, после трёх часов сна. Она позвонила заранее знакомому юристу из управления, который когда-то оформлял у неё доверенности, и спросила, к кому лучше обратиться по старому делу о пропавшем человеке. Юрист подумал и сказал: «Идите к Мальцеву. Он вредный, но честный. И он единственный, кто у нас читает старые дела».

Мальцев оказался невысоким, плотным, лысеющим мужчиной лет сорока пяти, в сером свитере с растянутыми рукавами. Кабинет у него был на третьем этаже, узкий, как пенал, с одним окном, двумя столами, один из которых пустовал, и с сейфом в углу, на котором стоял засохший кактус. Мальцев сидел за столом и ел бутерброд с колбасой, держа его над газетой, чтобы не сыпать крошки на бумаги.

– Вершинина? – спросил он, не вставая. – Нотариус? Садитесь. Мне про вас звонили. Сказали, у вас пропавший человек пятидесятилетней давности. Я так понимаю, это шутка такая у вас, у нотариусов?

– Нет, – сказала Ксения и села. – Не шутка.

Мальцев доел бутерброд, свернул газету вместе с крошками и бросил в корзину. Вытер руки платком.

– Ну, рассказывайте.

Ксения рассказала. Она продумала рассказ по дороге, как продумывала речь перед судом. Умерла Заруцкая. Завещание в пользу Ветровой, пропавшей в семьдесят четвёртом. Опись имущества. При повторном осмотре квартиры в шкафу обнаружено женское красное пальто, а в его кармане – два железнодорожных билета на пятнадцатое ноября семьдесят четвёртого года, взрослый и детский. По сведениям из газеты того времени, Ветрова пятнадцатого ноября ушла из дома в красном пальто и пропала.

Она не сказала про фиолетовые чернила. Не сказала про часы, про чашки, про три часа четырнадцать минут. Не сказала про зеркало.

Мальцев слушал, глядя в окно, и постукивал ручкой по столу.

– Ещё раз, – сказал он, когда она закончила. – Вы делали опись. Седьмого числа. Пальто не нашли. Потом пришли через пять дней и нашли. Так?

– Так.

– Квартира всё это время была опечатана?

– Да.

– Печать целая?

– Целая.

– Тогда, значит, пальто там висело и седьмого, а вы его просто не заметили.

– Седьмого в шкафу висела пустая вешалка. Я сама её описала. Это подтвердят двое свидетелей.

Мальцев перестал стучать ручкой.

– Вы хотите сказать, что кто-то вошёл в опечатанную квартиру и повесил пальто?

– Я ничего не хочу сказать, – ответила Ксения. – Я говорю, что седьмого его не было, а двенадцатого было. Как оно туда попало, я не знаю. Это не моё дело. Моё дело – наследственное имущество. Пальто, судя по всему, не принадлежало наследодателю. Билеты – тоже. Они, возможно, имеют отношение к пропавшему человеку. Я обязана сообщить.

Мальцев посмотрел на неё долгим взглядом, в котором было и раздражение, и любопытство, и что-то ещё, похожее на уважение.

– Обязаны, – повторил он. – Ну, сообщили. Давайте ваши билеты.

Ксения достала прозрачный файл и положила на стол. Мальцев не стал брать его руками. Он открыл ящик, достал оттуда лупу, старую, в медной оправе, и наклонился над файлом.

Долго смотрел. Повернул файл, посмотрел на обратную сторону билетов. Хмыкнул.

– Картон, – сказал он. – Компостер. Шрифт. – Он поднял глаза на Ксению. – Это не подделка. По крайней мере, не дешёвая. У меня отец на железной дороге работал, я таких билетов в детстве видел сотни. Вот этот уголок, видите? Это кассир надрезает, когда пробивает. А это штамп кассы. «Тесов-пассажирский, касса номер три». Касса номер три в семьдесят четвёртом году была. Я точно знаю, потому что её закрыли в восемьдесят шестом, когда вокзал перестраивали.

– Откуда вы знаете?

– Отец там работал, я же говорю. – Мальцев отложил лупу. – Ладно. Допустим, это настоящие билеты. Допустим, пальто – настоящее пальто той самой женщины. Допустим, кто-то пятьдесят лет хранил их, а потом повесил в шкаф, пока квартира была опечатана. Хотя это невозможно. Но допустим. Тогда что вы от меня хотите?

– Я хочу знать, было ли уголовное дело.

– По пропавшей в семьдесят четвёртом году? – Мальцев откинулся на стуле. – Вы понимаете, что дела о пропавших без вести хранятся пятнадцать лет? Потом уничтожаются. Если только нет решения оставить. Семьдесят четвёртый год – это всё давно сгнило.

– Но вы можете посмотреть.

Мальцев помолчал. Потом вздохнул тяжело, как вздыхают люди, которые знают, что сейчас сделают глупость.

– Могу, – сказал он. – Подождите в коридоре.

Ксения ждала в коридоре сорок минут, сидя на деревянной скамье под стендом «Их разыскивает полиция». С фотографий на неё смотрели мужчины с тяжёлыми лицами и одна девочка лет четырнадцати, с косичками, пропавшая в сентябре. Ксения посмотрела на девочку и подумала о Соне.

Мальцев вышел из кабинета с листом бумаги в руке и с выражением человека, которого обманули.

– Заходите.

Она зашла. Он сел, положил лист перед собой и разгладил ладонью.

– Значит, так, – сказал он. – Дела нет. Уничтожено в девяносто первом году по истечении сроков хранения. Это нормально. Но осталась карточка учёта. Её никто не уничтожает, она в общей картотеке, теперь в электронном виде, так что я до неё дотянулся. Слушайте. «Ветрова Лидия Сергеевна, тысяча девятьсот сорок восьмого года рождения. Розыскное дело заведено двенадцатого марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года по заявлению матери, Ветровой Анны Фёдоровны. Основание – ушла из дома пятнадцатого ноября семьдесят четвёртого и не вернулась. Розыск прекращён...» – он посмотрел на неё, – «...двадцатого марта тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Основание – получены сведения о выезде разыскиваемой за пределы страны».

– Через восемь дней, – сказала Ксения.

– Через восемь дней. Розыск, который должен был идти годами, закрыли через восемь дней. И основание – выезд за пределы страны. В семьдесят пятом. – Мальцев постучал пальцем по листу. – Вы понимаете, что в семьдесят пятом году нельзя было просто выехать за пределы страны? Нужна была выездная виза, характеристика, разрешение, проверка. Если бы она выехала легально, были бы документы. А если нелегально, то это не «прекратить розыск», а совсем другое дело, и тогда этим занимались бы совсем другие люди.

– Другие – это кто?

Мальцев посмотрел на неё, как на ребёнка.

– Комитет, – сказал он. – Госбезопасность. Бегство за границу было изменой Родине, Ксения Олеговна. За это давали до пятнадцати лет. Если бы актриса из Тесова сбежала за границу, об этом знал бы весь город, её бы клеймили на собраниях, мать её затаскали бы по допросам. А тут – тихо прекратили розыск и всё.

– Значит, это неправда.

– Значит, кто-то написал в основании то, что ему велели. – Он помолчал. – Тут ещё одно есть. Вот, внизу. «Ранее, восемнадцатого ноября тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года, по факту исчезновения Ветровой Л. С. проводилась проверка. Материал проверки списан двадцать первого ноября семьдесят четвёртого. Отказ в возбуждении уголовного дела. Проверку проводил следователь прокуратуры старший лейтенант Голубев П. И.».

– Восемнадцатого ноября, – сказала Ксения. – Значит, кто-то заявил о её исчезновении сразу.

– Кто-то заявил. Через три дня. Проверку провели за три дня и списали. А мать почему-то пришла только в марте. Потом розыск закрыли за восемь дней. – Мальцев откинулся на стуле, и стул под ним жалобно заскрипел. – Знаете, Ксения Олеговна, я не люблю нотариусов. Вы все слишком аккуратные. Но я ещё больше не люблю, когда дела закрывают за три дня.

– Кто такой Голубев?

– Пётр Ильич Голубев. – Мальцев слегка улыбнулся. – Живой, насколько я знаю. Ему под восемьдесят. Он потом работал в прокуратуре, потом в областном суде, потом на пенсии. У него внук у нас в патрульной службе. Можно найти.

– Найдите.

– Вы мне не начальник, – сказал Мальцев беззлобно. – Но найду. Мне самому интересно. – Он посмотрел на прозрачный файл с билетами. – А это я оставлю у себя. Как вещественное, то есть пока не вещественное, а так, предметы, представленные гражданкой. Я составлю протокол, вы подпишете. Если там что-то будет, отдадим на экспертизу.

– Это описанное имущество, – сказала Ксения. – Формально – часть наследственной массы. Пока не доказано, что оно принадлежало другому лицу.

– Ну, вот я и докажу. – Мальцев придвинул к себе бланк. – Не бойтесь, не потеряю. У меня сейф. Видите? – Он кивнул на сейф с засохшим кактусом. – Его ещё никто не открывал, кроме меня.

Ксения подумала о своём сейфе и ничего не сказала.

Протокол они составляли полчаса. Мальцев писал от руки, крупным, разборчивым почерком, и задавал вопросы, на которые Ксения отвечала точно, как отвечала на суде. Когда дошло до того, как пальто появилось в шкафу, он отложил ручку.

– Я вам вот что скажу, – сказал он. – Вы не похожи на сумасшедшую. И на мошенницу не похожи. Но история у вас дырявая. Если это не вы и не свидетели, значит, у кого-то есть ключ. От квартиры. И есть способ клеить печать так, чтобы вы не заметили. Это не так сложно, как вам кажется. Я видел, как вскрывают пломбы на вагонах так, что ни один эксперт не скажет. Так что первым делом – замки поменять. Вторым – камеру.

– Камера стоит.

– И что на ней?

– Ничего, – сказала Ксения. – Ни одного человека за пять ночей. Только кот и соседка с четвёртого этажа.

– Тогда через окно.

– Окна заклеены газетой. Целы.

– Тогда через стену, – сказал Мальцев и засмеялся. – Ладно. Не моё дело, как оно туда попало. Моё дело – что было в семьдесят четвёртом. Подпишите здесь.

Она подписала. Мальцев убрал файл с билетами в большой бумажный конверт, заклеил, расписался на клапане, дал расписаться ей, написал на конверте: «Предметы, представленные Вершининой К. О., тринадцатое ноября», открыл сейф ключом, который висел у него на шее на шнурке, и положил конверт на верхнюю полку. Закрыл. Подёргал ручку.

– Всё, – сказал он. – Голубева я найду. Вам позвоню.

Остаток дня Ксения провела в конторе и работала до восьми вечера, потому что накопились перенесённые встречи. Ира держалась героически, хотя глаза у неё слипались, и один раз она перепутала паспорта двух клиенток, но вовремя заметила. В обед, когда в приёмной наконец стало пусто, Ира принесла в кабинет две тарелки с гречкой из столовой через дорогу и поставила одну перед Ксенией с таким видом, будто ставила ультиматум.

– Ешьте. Вы с утра ничего не ели.

Ксения ела, не чувствуя вкуса. Ира сидела напротив и смотрела в стену.

– Детский билет, – сказала она наконец. – Я всё про него думаю. Ксения Олеговна, ведь это значит, что ребёнок был. Не выдуманный. Настоящий. Она его везти собиралась.

– Или собиралась везти чужого ребёнка.

– Чужого? В Ленинград? Ночью, тайком, через месяц после премьеры? – Ира покачала головой. – Нет. Так везут своего. Так убегают. Я вот думаю: в завещании написано «дочь Лидии Ветровой». Заруцкая же не сказала «сын» или «ребёнок». Она сказала «дочь». Значит, она знала, что это девочка.

– Значит, знала.

– И не знала, как её теперь зовут. Вы мне сами рассказывали. «Не знаю, как её зовут теперь». Теперь! Значит, раньше знала. Значит, девочку как-то звали, а потом стали звать иначе. Так бывает, когда ребёнка отдают. В детский дом или в чужую семью.

Ксения отложила вилку. Она вдруг вспомнила, как старуха Заруцкая сидела у неё за этим самым столом и молчала, пока за окном проезжал троллейбус, и как на её лице было что-то такое, что Ксения тогда приняла за старческую рассеянность. Теперь она понимала, что это было. Это было лицо человека, который пятьдесят лет не произносил вслух одну фразу и наконец собирается её произнести.

– Ира, – сказала она, – по детским домам области за семьдесят четвёртый – семьдесят пятый год можно что-нибудь найти?

– Можно попробовать, – сказала Ира. – Архив областного отдела образования. Там журналы поступлений. Но они закрытые, это же тайна усыновления. Нам их не дадут.

– Не дадут, – согласилась Ксения. – Нам – нет. А суду дадут.

– Так это же надо в суд идти.

– Пока не надо. Пока надо понять, кого искать. Девочка, родилась примерно в семидесятом или семьдесят первом. Если детский билет – значит, до десяти лет. Скорее всего, маленькая, раз её везли ночью, тайком. Два, три года.

– Значит, сейчас ей пятьдесят с чем-то, – сказала Ира. – Как вам примерно.

Ксения ничего не ответила. Она доела гречку и пошла принимать следующего посетителя, пожилого мужчину, который пришёл удостоверить подпись на заявлении о разводе и всё время извинялся за то, что разводится в семьдесят лет.

В шесть вечера позвонил Роман и сказал, что поменял замок на двери – тот, новый, накладной. Клавдия Семёновна при этом присутствовала, печать пришлось снимать и клеить снова, и он сам всё описал в акте, как Ксения учила.

– Ключ у Клавдии, – сказал он. – Один. Второй я выкинул в Тесь. С моста. Чтобы ни у кого не было.

– Это было необязательно.

– Мне так спокойнее, – сказал Роман.

Вечером Соня спросила, почему мама вчера не ночевала дома.

– Работа, – сказала Ксения.

– Ночью?

– Ночью.

Соня смотрела на неё с подозрением, которое бывает только у четырнадцатилетних.

– Мам, у тебя кто-то есть?

Ксения засмеялась, впервые за много дней по-настоящему.

– Нет, Соня. У меня никого нет. У меня есть покойная старушка и её квартира.

– Это ещё хуже, – сказала Соня серьёзно.

Ночью Ксения спала. Она не ставила будильник, не брала опись домой и не думала о трёх четырнадцати. Она так устала, что заснула сразу, как легла, и проснулась только в семь от звонка телефона.

Звонил Мальцев.

– Вершинина, – сказал он без приветствия. Голос у него был странный, сухой и очень спокойный, как у человека, который заставляет себя быть спокойным. – Вы где?

– Дома.

– Ваши билеты где?

Ксения села на кровати.

– У вас в сейфе.

– Я пришёл в шесть тридцать, – сказал Мальцев. – Я всегда прихожу рано. Открыл сейф, хотел отдать конверт на экспертизу. Конверт на месте. Заклеен. Подписи на месте. Я его вскрыл при дежурном. Он пустой.

Ксения молчала.

– Вы меня слышите?

– Слышу.

– Ключ от сейфа один, у меня на шее, – сказал Мальцев. – Я в нём сплю. Кабинет был закрыт, этаж под охраной, в коридоре камера. Ночью никто не входил. Я уже посмотрел. – Он помолчал. – Ксения Олеговна, я вас прошу, скажите мне, что это вы как-то устроили. Я не обижусь. Я даже дело не заведу. Просто скажите, как.

– Я ничего не устраивала, Станислав... простите, я не знаю вашего отчества.

– Андреевич, – сказал Мальцев. – Неважно.

– Станислав Андреевич, я думаю, вам надо поехать со мной на Красных Зорь.

– Зачем?

– Затем, что, если я права, билеты сейчас в кармане того пальто.

Мальцев долго молчал. Потом сказал:

– Через сорок минут. У подъезда.

Через сорок минут они стояли на площадке третьего этажа. Мальцев – в куртке поверх свитера, небритый, мрачный. Клавдия Семёновна – в пуховом платке, с ключами. Ксения – с описью в руках, которую она по дороге забрала из конторы.

Печать была целая. Мальцев осмотрел её так, как, наверное, осматривал пломбы на вагонах: с лупой, низко наклонившись, трогая края ногтем. Выпрямился.

– Целая, – сказал он нехотя.

Ксения раскрыла опись на сто четвёртой строке. «Пальто женское, драповое, красное, с поясом. В правом кармане – два билета». А ниже, на полях, мелко, фиолетовыми чернилами, её почерком, было приписано одно слово, которого вчера не было:

«Возвращено».

Мальцев прочитал через её плечо. Ничего не сказал.

Они вошли. Мальцев прошёл в спальню первым, Ксения за ним. Шкаф. Красное пальто на вешалке. Мальцев надел перчатки, которые достал из кармана куртки, отогнул клапан правого кармана и вынул два картонных прямоугольника.

Поезд сто двенадцать. Тесов – Ленинград. Пятнадцатое ноября семьдесят четвёртого. Вагон седьмой. Место двадцать третье, полный. Место двадцать четвёртое, детский.

На уголке полного билета, там, где вчера Мальцев рассматривал надрез кассира, было едва заметное пятнышко – след от пальца в перчатке, оставленный на пыли. Его пальца. Он узнал его, это было видно по лицу.

Мальцев стоял, держа билеты, и смотрел на них очень долго. Потом поднял голову и посмотрел на Ксению.

– Я в это не верю, – сказал он.

– Я тоже, – сказала Ксения.

– Нет, вы не поняли. Я в это не верю. Совсем. Ни в духов, ни в барабашек, ни в бабушкины сказки. Я двадцать два года в уголовном розыске, я видел, как люди врут, и я видел, как вещи пропадают. Вещи не пропадают сами. Их берут люди.

– Хорошо, – сказала Ксения.

– И я найду, кто это сделал.

– Хорошо.

Мальцев положил билеты обратно в карман пальто. Аккуратно, как кладут вещь туда, откуда её взяли. Застегнул клапан. Снял перчатки.

– Голубева я нашёл вчера вечером, – сказал он, глядя в шкаф. – Живёт в Заречье, у сына. Сказал, что приедет к нам в пятницу. Сказал, что ждал этого звонка пятьдесят лет.

Глава 7. Четверо у Летнего театра

Четырнадцатого ноября, в четверг, Ксения весь день ловила себя на том, что смотрит на часы.

Не на телефон, где время было просто цифрами, а на старые настенные часы в приёмной, круглые, с римскими цифрами, которые достались конторе вместе с сейфом и с предшественником. Они висели над диваном для посетителей, и Ксения, проходя через приёмную, каждый раз поднимала на них глаза. Десять сорок. Двенадцать сорок. Три сорок. Будто ей нужно было убедиться, что стрелки здесь ходят, что время в её собственной жизни не остановилось на двадцати трёх сорока.

Ира заметила это к обеду.

– Ксения Олеговна, вы на часы смотрите, как будто они вам денег должны.

– Сегодня четырнадцатое.

– Я знаю. – Ира помолчала. – Пятьдесят лет. Ровно. Премьера «Чайки».

– Да.

– Вы думаете, сегодня что-то будет?

– Я ничего не думаю, Ира. Я работаю.

Она работала. Приняла восемь посетителей, удостоверила двенадцать доверенностей, одно согласие супруга на продажу машины и одно завещание – молодой женщины, которая уезжала на вахту в Якутию и боялась самолётов. Женщина плакала, подписывая, а Ксения сидела напротив, протягивала ей салфетки и думала о том, что пятьдесят лет назад другая молодая женщина тоже собиралась уезжать и, наверное, тоже боялась.

Вечером, в половине седьмого, ей позвонила Соня.

– Мам, ты помнишь, что сегодня?

Ксения на секунду похолодела.

– Что?

– Ну, спектакль! Ты обещала. В театре сегодня «Ревизор», Ольга Витальевна нам дала контрамарки. Всей студии и родителям. Ты обещала ещё в октябре. Ты забыла, да?

Она забыла. Она стояла посреди кабинета с телефоном у уха и понимала, что в октябре, ещё до Заруцкой, до описи, до фиолетовых чернил, действительно обещала дочери пойти в театр в четверг, четырнадцатого.

– Не забыла, – сказала она. – Во сколько?

– В семь! Мам, ты уже опаздываешь!

Тесовский драматический театр стоял на краю сквера, через дорогу от улицы Красных Зорь. Ксения впервые за много лет подумала, как близко это. Дом девять с его аркой и облупленными венками был виден из театрального подъезда, если встать у правой колонны и посмотреть через голые липы. Окна третьего этажа были тёмные.

Театр был построен в тридцатые годы на месте старого купеческого собрания: шесть белых колонн, широкая лестница, треугольный фронтон с лепными масками, одна смеётся, другая плачет. Внутри пахло пудрой, пылью, мандаринами из буфета и старым паркетом. Фойе было огромное, с хрустальными люстрами, которые зажигались не все, а через одну, ради экономии. Соня ждала у гардероба вместе с тремя девочками из студии и, увидев мать, сделала лицо, которое означало одновременно «наконец-то» и «не вздумай меня целовать при всех».

Ксения не поцеловала.

До начала было десять минут. Девочки убежали в буфет за пирожными, и Ксения медленно пошла вдоль стены фойе, где висели портреты.

Это была галерея труппы за все годы. Сверху – большие портреты в золочёных рамах: народные артисты, заслуженные артисты, главные режиссёры. Ниже – маленькие фотографии в

одинаковых чёрных рамочках, по годам, по десятилетиям. Пятидесятые. Шестидесятые. Семидесятые.

Ксения остановилась.

В центре стены, на самом видном месте, висел портрет мужчины лет пятидесяти, написанный маслом. Красивое, крупное лицо, седеющие волосы, зачёсанные назад, светлые глаза, лёгкая усмешка в углу рта. Подпись на латунной табличке: «Павел Гордеевич Сабуров. Народный артист. Главный режиссёр театра в 1979–2004 годах. Почётный гражданин города Тесова».

Он был похож на сына. Или сын был похож на него. Та же широкая кость, тот же разворот плеч, та же улыбка, от которой у Ксении в кабинете было неприятное чувство, будто тебя взвешивают. Только у отца, на портрете, в глазах было больше света. Или художник постарался.

Она перевела взгляд на маленькие фотографии внизу. Семидесятые годы. Сезон за сезоном. Пятнадцать, двадцать лиц в каждом ряду. Она искала одну фамилию и не нашла её. Сезон 1972–1973. Сезон 1973–1974. Сезон 1974–1975. Фамилия Сабуров – в каждом. Фамилии Ветрова – ни в одном.

Будто её никогда не было.

– Вы кого-то ищете?

Ксения обернулась. Рядом стояла пожилая билетёрша, худая, в форменном синем жакете с бейджиком «Нина Ивановна», с программками в руках.

– Ищу, – сказала Ксения. – Актрису. Лидию Ветрову. Она играла в семидесятых.

Билетёрша посмотрела на неё внимательно.

– Ветрову тут не ищите, – сказала она. – Её тут нет.

– Почему?

– Сняли. Давно. Ещё при Сабурове. Тут раньше все были, а потом, в восьмидесятом, когда фойе ремонтировали, Павел Гордеевич сам отбирал, кого вешать обратно. Её не повесили. – Билетёрша помолчала. – Говорят, она за границу сбежала. Предательница, значит. Ну, по тем временам.

– А вы её помните?

– Я тут с восемьдесят пятого, – сказала билетёрша. – Я никого не помню. А вот Фаина Марковна помнит. Суфлёр наша бывшая. Ей восемьдесят восемь, она каждую премьеру приходит, сидит в третьем ряду. Её все знают. Если хотите, я вам её телефон...

Прозвенел второй звонок. Билетёрша спохватилась, сунула Ксении программку и заспешила к дверям зала.

Ксения записала имя в телефон: «Фаина Марковна, суфлёр».

«Ревизора» она почти не видела. Сидела в седьмом ряду рядом с Соней, смотрела на сцену, где Хлестаков в пёстром халате врал городничему, и думала о том, что пятьдесят лет назад, в этот же вечер, на этой же сцене шла премьера «Чайки», и что в зале сидели люди, которые потом плакали, не стесняясь, как писала «Тесовская правда». И что одна из этих людей, или несколько, знали, куда Лидия Ветрова пошла после спектакля.

В антракте Соня потащила её за кулисы. У студии было право ходить туда, Ольга Витальевна договорилась, и девочки бегали по коридорам за сценой, разглядывая гримёрные с табличками и вешалки с костюмами, как музей.

– Мам, смотри, это костюмерный цех! – Соня показала на дверь в конце коридора, обитую железом. – Там вообще всё. Платья с девятнадцатого века. Ольга Витальевна говорит, там один сундук есть, ещё с довоенного времени, его никто не открывает, потому что ключ потеряли.

Ксения посмотрела на железную дверь. Сорок лет за этой дверью шила Евгения Заруцкая. Сюда она ушла из театрального мира, когда перестала выходить на сцену и фотографироваться. Здесь она пряталась.

– Пошли, Соня, третий звонок.

Домой они вернулись в одиннадцать. Соня была счастлива, болтала без умолку о том, как Хлестаков уронил на пол бутафорскую рыбу и как весь зал смеялся, и о том, что у Марьи Антоновны было ужасное платье. Ксения слушала и кивала. Уже раздевшись, Соня вдруг остановилась в дверях кухни, с зубной щёткой во рту.

– Мам, а Ветрова – это кто? Мне Лерка сказала, ты у билетёрши про какую-то Ветрову спрашивала.

Ксения подумала, не соврать ли. Потом решила, что врать дочери про мёртвых – последнее дело.

– Актриса. Играла в нашем театре в семидесятых. Нину Заречную. Потом пропала.

Соня вынула щётку изо рта.

– Подожди. Нину? В семидесятых? – Глаза у неё стали огромными. – Мам, так это же она! Это же наша Нина!

– Какая «наша»?

– Ну, у нас в студии легенда есть. Ольга Витальевна рассказывала, когда мы только начали «Чайку» читать. Что в театре живёт Нина. Что когда-то давно актриса сыграла Нину Заречную на премьере, а потом ушла после спектакля в своём пальто и не вернулась. И что с тех пор, если ставят «Чайку», в костюмерном цеху по ночам кто-то ходит. Сторожа слышат. И что поэтому «Чайку» у нас в театре пятьдесят лет не ставили, только в студии теперь решились, потому что студия – это не театр. – Соня перевела дыхание. – Я думала, это просто сказка такая. Для младших. Чтобы боялись.

– Ольга Витальевна говорила, как её звали?

– Нет. Она сказала, имя никто не помнит. Просто Нина. – Соня посмотрела на мать подозрительно. – А тебе это зачем? Это из-за твоей старушки?

– Из-за неё.

– Она её знала?

– Она ей шила пальто, – сказала Ксения. – Красное.

Соня постояла ещё, переступая босыми ногами по холодному полу, и вдруг сказала совсем другим, детским голосом:

– Мам, а можно я сегодня дверь в комнату открытой оставлю?

– Можно.

Соня ушла. Ксения слышала, как она возится в ванной, как скрипит её кровать, как щёлкает выключатель. Дверь в детскую осталась открытой, и в коридор падала узкая полоса света от ночника, который Соня не включала с девяти лет.

В одиннадцать сорок она стояла у окна на кухне и смотрела на улицу, где в свете фонаря крутился мелкий снег.

Двадцать три сорок. Ровно пятьдесят лет назад, где-то в четырёх километрах отсюда, в квартире на третьем этаже, остановились часы.

Она не легла. Опись лежала на столе – Ксения снова, второй раз за неделю, взяла её из конторы, сказав себе, что это последний раз. Она сделала себе крепкий кофе, укрыла ноги пледом и раскрыла последний лист, где была спальня. Там было меньше всего строк, и там, она чувствовала, что-то ещё должно было случиться.

Кофе остыл. Соня в своей комнате выключила музыку в половине первого. Город за окном затих. В два часа проехала снегоуборочная машина, оранжево мигая. В три часа Ксения встала, умылась холодной водой и снова села.

Три четырнадцать.

На этот раз она почувствовала. Не холод, как в квартире, а что-то другое: будто комната на секунду стала больше, а потом снова сжалась. Как вдох. И на листе, на сто девятой строке, где было напечатано: «Фотография в деревянной рамке, на подставке, изображение – букет сирени в вазе», появилась тонкая фиолетовая линия.

Перо зачеркнуло «букет сирени в вазе». Подумало – так Ксения это ощутила, будто пауза была раздумьем. И начало писать над строкой, медленно, дольше, чем обычно, потому что слов было больше.

«Изображение – четверо у Летнего театра».

Пауза.

«Лицо одного процарапано».

Точка.

Ксения сидела, не двигаясь, и смотрела на строку, пока фиолетовые чернила не высохли. Потом закрыла глаза. За окном снова пошёл снег.

Утром, в пятницу, она позвонила Роману в семь.

– Я знаю, – сказал он, не дав ей договорить. – Я тоже не спал. Я свой экземпляр теперь рядом кладу, на тумбочку. Фотография. Четверо. Я уже одеваюсь.

Мальцев приехать не смог: позвонил, сказал, что на выезде, убийство на Заводской, и что Голубев приболел, переносится на следующую неделю. Клавдия Семёновна ждала на площадке с ключами и с видом человека, который больше ничему не удивляется.

Фотография стояла на комоде в спальне, там, где стояла неделю назад. Та же рамка, деревянная, тёмная, с подставкой. Но вместо букета сирени в стеклянной вазе – снимок. Чёрно-белый, с белыми полями, с зубчатым краем, как печатали в шестидесятых и семидесятых в фотоателье. Немного пожелтевший. Небольшой, размером с ладонь.

На снимке были четверо.

Они стояли у недостроенной деревянной сцены. Сцена была видна за ними: дощатый помост, наполовину обшитый, с голыми стропилами над ним, с лесами, с прислонёнными к ним досками. Сзади – сосны, высокие, тёмные. Был летний день, свет падал сбоку, косо, и все четверо щурились.

Слева стояла невысокая худая женщина в светлом платье в мелкий горошек, с косой, уложенной вокруг головы. Она не улыбалась. Ксения узнала её сразу – по острому подбородку, по тому, как она держала руки сложенными перед собой. Евгения Заруцкая, сорока трёх лет.

Рядом с ней – мужчина в рабочей куртке и в кепке, сдвинутой на затылок, коренастый, широколицый, с папиросой в углу рта. Он смеялся, глядя куда-то в сторону от объектива.

– Дед, – сказал Роман глухо. – Это дед. Виктор. Я его таким не помню, он же у меня в памяти старый. Но это он. У нас дома такая же кепка лежала.

Справа стояла высокая девушка в лёгком сарафане, с распущенными светлыми волосами до лопаток. Тонкая, с длинной шеей. Она смотрела прямо в объектив и улыбалась, чуть приподняв подбородок, будто знала, что её будут рассматривать через пятьдесят лет, и не боялась этого. Ксения видела её лицо в газете, размытое растром, и лицо было то же самое, только живое. Светлые глаза. Высокие скулы. Улыбка, которая начиналась не с губ, а с глаз.

– Ветрова, – сказала Ира. – Лидия.

Четвёртый стоял рядом с Лидией, чуть позади, положив руку ей на плечо. Высокий, широкоплечий молодой мужчина в белой рубашке с закатанными рукавами. Но лица у него не было.

Лицо было процарапано. Не стёрто, не замазано, а именно процарапано: чем-то острым, иглой или кончиком ножниц, много раз, крест-накрест, так что эмульсия на снимке сошла до белой бумаги, и на месте лица осталось белое пятно с рваными краями. Царапины были глубокие и злые. Кто-то делал это долго.

А рука на плече у Лидии осталась нетронутой. Крупная мужская рука с длинными пальцами, на безымянном пальце – перстень.

– Кто это? – спросила Клавдия Семёновна.

– Можно посмотреть? – спросила Ксения и сама удивилась: у кого она спрашивает разрешения?

Она надела перчатки, взяла рамку и осторожно перевернула. Задник был картонный, на маленьких гвоздиках. Ксения отогнула два гвоздика ногтем, вынула картон. Под ним была обратная сторона снимка. На ней чернилами – не фиолетовыми, а обычными, синими, выцветшими – было написано женским почерком, с наклоном влево, со старательными, школьными буквами:

«Летний театр. Июнь 1974. Женя, Витя, Лида, Паша».

Почерк был Заруцкой. Ксения узнала петлю на заглавной «Ж», такую же, как на «З» в подписи под завещанием.

– Паша, – сказала Ира шёпотом.

– Сабуров, – сказал Роман. – Это же Сабуров. Старый. Павел Гордеевич. Вы гляньте на руку, у него на всех фотографиях такой перстень. Он его по телевизору всегда носит. Это его отцовский, он рассказывал. Говорил, отец ему подарил, когда он в театр поступил.

– Вы уверены?

– Да кто в Тесове этот перстень не знает? – Роман почти кричал. – Он с ним на всех плакатах! Его в День города на сцену выводят, он машет рукой, и все видят перстень! Это Сабуров. Это его тётка процарапала. Вот почему она телевизор выключала. Вот почему.

Ксения стояла, держа в руках снимок, и смотрела на Лидию Ветрову. На то, как мужская рука с перстнем лежит у неё на плече. Не обнимает, а лежит – тяжело, по-хозяйски. И на то, как Лидия улыбается в объектив, будто этой руки не замечает.

– Июнь семьдесят четвёртого, – сказала она. – Летний театр. Его же тогда строили?

– Перестраивали, – сказала Клавдия Семёновна неожиданно. – Я помню. Я тогда молоденькая была, двадцать лет, в парк на танцы бегала. Старый Летний театр сгорел в семьдесят третьем, а в семьдесят четвёртом строили новый. Всё лето строили. Актёры сами помогали, субботники были. А в ноябре заливали фундамент под новую сцену, большую, каменную. Помню, грузовики с бетоном ночью ездили. Мы ещё ругались, что спать не дают.

– В ноябре, – повторила Ксения.

– Ну да. Холодно уже было. Мой отец говорил, дураки, кто ж в ноябре бетон льёт, он же замёрзнет. А им к весне надо было сдать. К юбилею какому-то.

Ксения вставила картон обратно, загнула гвоздики, поставила рамку на комод. Ровно туда, где она стояла, на светлый круг, оставленный подставкой на лаке.

– Ира, – сказала она, – запиши в акт. На комоде фотография в рамке. Изображение – четверо у недостроенной сцены. На обороте надпись: «Летний театр. Июнь 1974. Женя, Витя, Лида, Паша». Лицо мужчины справа процарапано. Ничего больше не пиши. Ни фамилий, ни догадок.

– Ничего больше, – повторила Ира и записала.

Роман вышел в большую комнату и стоял там у окна, отвернувшись. Ксения подошла к нему.

– Роман Викторович.

– Дед ведь там был, – сказал он, не оборачиваясь. – На снимке. Значит, он их знал. Её знал. И Сабурова знал. Он же шофёр был, театральный. Грузовик у него был, «ЗИЛ», на нём декорации возили. Я помню, он рассказывал, как он на этом «ЗИЛе» однажды в Москву декорации отвозил на гастроли. Двое суток ехал.

Он замолчал. Потом сказал совсем тихо:

– Он пил всю жизнь. Бабка говорила, он раньше не пил. До семидесятых. А потом начал и уже не остановился. Я думал, это просто так. Ну, все пили.

Ксения ничего не сказала. Она смотрела во двор, на два голых тополя, на детскую площадку, засыпанную снегом, и думала о том, что Клавдия Семёновна сказала: грузовики с бетоном ночью ездили. В ноябре. Когда никто не льёт бетон.

– Нам нужен Голубев, – сказала она вслух.

– И Фаина Марковна, – сказала Ира из спальни. – Суфлёр. Вы же её телефон записали, мне Соня сказала, вы с билетёршей разговаривали.

– Откуда Соня знает?

– Соня мне пишет, – сказала Ира безмятежно. – Мы с ней в одном чате. Она спрашивает, почему вы не спите.

Ксения хотела рассердиться и не смогла.

Они вышли, опечатали дверь, расписались. На лестнице, проходя мимо подоконника с маленькой чёрной камерой, Роман остановился.

– Я пересматривал, – сказал он. – За эту ночь. В три четырнадцать она мигнула, как всегда. А потом, на две секунды, на ней что-то было. Я сначала решил, что помеха. А потом остановил кадр.

Он достал телефон, полистал и протянул Ксении.

На стоп-кадре была площадка третьего этажа, дверь квартиры номер четырнадцать в углу, бумажная лента поперёк неё. Всё серое, зернистое, как бывает в ночной съёмке. И у двери, спиной к камере, стояла фигура. Невысокая. В тёмном. С головой, покрытой то ли платком, то ли шляпкой. Она стояла, чуть наклонившись к двери, будто прислушивалась. Или будто проверяла, ровно ли наклеена лента.

– Это две секунды, – сказал Роман. – Потом опять пусто.

Ксения смотрела на стоп-кадр очень долго. На то, как фигура держит руки – сложенными перед собой.

– Удалите, – сказала она наконец.

– Почему?

– Не знаю, – сказала Ксения. – Не удаляйте. Пришлите мне.

Роман прислал. Она сохранила файл в отдельную папку, которую назвала «Заруцкая», и долго не могла решить, стоит ли его когда-нибудь открывать снова.

Глава 8. Правила

В субботу Ксения решила сделать то, что делала всю жизнь, когда сталкивалась с чем-то непонятным: проверить.

Это было её главное умение. Не ум и не память, хотя и то и другое у неё было неплохим, а именно привычка проверять. Когда клиент говорил, что дом достался ему от деда, она запрашивала выписку и обнаруживала, что дед продал этот дом соседу ещё в восемьдесят девятом. Когда наследники клялись, что других детей у покойного нет, она смотрела записи актов и находила сына от первого брака в Хабаровске. Люди врали, иногда нарочно, чаще нечаянно. Бумага врала реже. Но бумагу тоже надо было проверять.

Теперь ей врала бумага. Или говорила правду, которую никто не мог проверить. И Ксения решила, что раз так, проверять надо саму бумагу.

В пятницу вечером, после того как они ушли из квартиры, она долго сидела на кухне и составляла план. Пункт за пунктом, как составляла перечень документов для сложной сделки.

Что известно. Опись меняется ночью, в три часа четырнадцать минут. Меняется одна строка, иногда с дополнением. Меняются все три экземпляра одновременно, где бы они ни лежали. Вслед за строкой меняется вещь в квартире. Печать остаётся целой.

Что проверено. Вещь нельзя вынести: билеты, увезённые Мальцевым в сейф, вернулись в карман пальто. На полях описи появилась пометка «Возвращено».

Что не проверено. Вернётся ли любая вещь, или только та, которую изменили? Можно ли изменить вещь самому, и что тогда будет с описью? Происходят ли правки каждую ночь, или только тогда, когда кто-то... Ксения остановилась на этом слове. Когда кто-то что? Смотрит? Ждёт? Готов?

Две ночи, с девятого на десятое и с десятого на одиннадцатое, ничего не случилось. В эти ночи никто не держал опись под лампой, не сидел в квартире, не просыпался в три четырнадцать. Совпадение? Или квартира – или та, кто правила опись, – ждала, пока её начнут слушать?

– Ты разговариваешь сама с собой, – сказала Соня, проходя мимо на кухню за водой.

– Я думаю вслух.

– Это одно и то же, мам.

В субботу в десять утра Ксения позвонила Роману и Клавдии Семёновне и объяснила, что хочет сделать.

– Вы хотите вынести часы? – переспросил Роман. – Зачем?

– Хочу показать их часовщику. Узнать, почему они встали. И проверить, вернутся ли они.

– А если не вернутся? Если вы их там оставите, а они пропадут?

– Тогда я составлю акт об утрате и буду отвечать, – сказала Ксения. – Это моя ответственность.

Роман помолчал.

– Ладно, – сказал он. – Я с вами. Я тоже хочу посмотреть.

Часовщика Ксения знала давно. Савелий Кузьмич Пронин держал маленькую мастерскую в полуподвале на Базарной, рядом с рынком, и чинил всё, что тикало, от наручных часов до башенных. Тесовские нотариусы и адвокаты носили ему старинные часы из наследственных дел на оценку, и он никогда не ошибался. Ему было за семьдесят, он носил на лбу лупу на резинке, говорил медленно и пах машинным маслом и крепким чаем.

Снять часы со стены оказалось непросто. Они висели на массивном кованом крюке, вбитом в стену, видимо, ещё при постройке дома. Роман встал на табуретку, взялся за корпус обеими руками и приподнял. Часы были тяжёлые, килограммов семь, и, когда он снял их с

крюка, внутри что-то глухо стукнуло – маятник, освобождённый от покоя, качнулся и ударился о стенку корпуса.

На стене за ними осталось тёмное круглое пятно, как бывает, когда вещь висит на одном месте много лет и обои вокруг выгорают.

Ксения составила акт: «Часы настенные «Янтарь», описанные под номером сорок один, временно изъяты для проверки технического состояния и будут возвращены». Расписались все трое. Клавдия Семёновна расписалась последней и, отдавая ручку, сказала:

– Не вернутся они к вам. Они к ней вернутся.

Мастерская Пронина была тесная, низкая, с узким окном под потолком, через которое видны были ноги прохожих. Вдоль стен на полках и на гвоздях висели часы, десятки часов, и все шли, каждые по-своему, тикая, щёлкая, постукивая, и от этого в мастерской стоял ровный многоголосый шум, как в улье.

– «Янтарь», – сказал Пронин, когда Роман поставил часы на верстак. – Орловский завод. Конец шестидесятых. Хорошие часы. Сейчас таких не делают.

Он снял заднюю крышку, наклонился, опустил на глаз лупу и долго смотрел. Ксения ждала. Роман переминался с ноги на ногу у двери, потому что в мастерской негде было стоять.

– Завод есть, – сказал наконец Пронин. – Пружина взведена почти полностью. Значит, их недавно завели. Механизм чистый, масло старое, но не засохло. Ничего не сломано. – Он помолчал. – Но стоят.

– Почему?

Пронин не ответил. Он взял тонкий пинцет и полез в механизм, туда, где за колёсами, между двумя латунными пластинами, что-то темнело. Повозился. Достал.

На пинцете висела шпилька.

Тонкая, чёрная, волнистая, длиной в палец, какие раньше женщины носили в причёсках, закалывая косы и узлы. Старая, с облупившимся лаком на кончике.

– Вот, – сказал Пронин. – Застряла между колёсами анкерного механизма. Остановила ход. Будто кто-то открыл крышку и сунул внутрь. Или уронила, когда заводила. Бывает. Я однажды из настенных часов достал зубной протез. Покойник уронил, когда кукушку слушал.

– Когда она туда попала?

– Не знаю, – сказал Пронин. – Могла и вчера, могла и двадцать лет назад. Только если двадцать лет назад, часы бы двадцать лет и стояли. А их, говорите, на прошлой неделе заводили и шли?

– Шли.

– Тогда вчера, – сказал Пронин спокойно. – Или на днях. – Он поднял шпильку к свету. – Только вот шпилька старая. Таких лет сорок не делают. Видите, лак какой? Это ещё советская. Сейчас они блестящие и с шариками на концах.

Он положил шпильку на кусочек бархата на верстаке.

– Вынуть – и пойдут, – сказал он. – Можно я заведу?

– Нет, – сказала Ксения. – Пожалуйста, не надо. Положите её обратно.

Пронин посмотрел на неё поверх лупы.

– Обратно? В механизм?

– Да. Я понимаю, что это звучит странно. Но я вас прошу. Положите туда, где она была.

Пронин молчал секунд десять. Потом пожал плечами, взял пинцет, взял шпильку и полез обратно. Ксения смотрела, как его морщинистые пальцы с чёрной каймой под ногтями ведут пинцет между колёсами, как шпилька ложится в ту же щель, откуда её вынули.

– Ну вот, – сказал он, закрывая крышку. – Стоят. Как вы хотели. Я сорок пять лет часы чиню, а такого не просили.

– Можно они у вас переночуют? – спросила Ксения.

– Переночуют, – сказал Пронин. – У меня тут сигнализация, решётки и я сам живу за стенкой. Пусть ночуют.

Он поставил «Янтарь» на полку, среди других часов, и Ксения на секунду увидела, как они там смотрятся: единственные в мастерской часы, которые молчат.

Днём позвонил Мальцев. Голос у него был бодрый и злой, как у человека, который нашёл себе занятие.

– Вершинина, я тут кое-что проверил. Ваш сейф, в конторе. Я вчера вечером, пока вас не было, попросил ребят из охранной фирмы поднять журнал. Не то, что вам на пульте говорят, а полный, с датчиками. Датчик двери, датчик движения в приёмной, датчик на окнах. За всю неделю – ни одного срабатывания ночью. Ни одного. Даже мышь не пробежала.

– Я вам говорила.

– Вы мне говорили. А я проверил. Это разные вещи. – Он помолчал. – И ещё. Я взял у эксперта на минутку, неофициально, ту фотографию стоп-кадра, что ваш Заруцкий снял. Он мне её прислал, не обижайтесь. Эксперт посмотрел и говорит: монтажа нет. Это не наложение. Это просто плохой кадр, ночная съёмка, шум. Говорит, на этом шуме человек может увидеть что угодно. Как в облаках.

– А вы что увидели?

Мальцев долго не отвечал.

– Я увидел старуху в шляпке, – сказал он наконец. – Которая стоит у двери и проверяет вашу печать. Только я вам этого не говорил. Я в облака не верю.

– Хорошо, Станислав Андреевич.

– Голубев переносится на вторник, – сказал Мальцев уже обычным голосом. – Давление у него. Сын сказал, он всю неделю не спит, как узнал. Всё ходит по квартире и бормочет: «Ветрова, Ветрова». Во вторник в десять у меня. Не опаздывайте.

Вечером, в половине двенадцатого, она снова сидела на кухне с описью. Это уже становилось привычкой, и Ксения себе это отметила с неудовольствием. Соня спала с открытой дверью. Ночник в детской горел.

В три четырнадцать на сорок первой строке, рядом с фиолетовым «остановлены на 23:40», проступило на полях одно слово: «Возвращено».

Ксения посидела, глядя на него, потом позвонила Пронину. Было три шестнадцать ночи, и она понимала, что звонит семидесятилетнему человеку, который спит. Но он взял трубку после второго гудка, и голос у него был не сонный.

– Я не сплю, – сказал он. – Я сижу в мастерской. Знаете, Ксения Олеговна, я вам должен сказать. Я в двенадцать часов сюда пришёл, сел, потому что не мог заснуть. Думал, что-то не то с этими часами. А в три с чем-то тут все часы разом остановились. Все. Сорок три штуки. На секунду. Я такого не слышал никогда, чтобы в мастерской стало тихо. И пошли опять. А «Янтаря» на полке нет.

– Я знаю, – сказала Ксения.

– Вы знали? – Он помолчал. – Тогда хорошо. Тогда я, значит, не с ума сошёл. Ксения Олеговна, вы больше ко мне такого не носите. Я старый человек.

– Простите, Савелий Кузьмич.

– Ничего, – сказал Пронин и вдруг засмеялся. – Это даже интересно. Я, знаете, всю жизнь думал, что время – это механизм. Пружина, колёса, анкер. А оно, оказывается, ещё и женщина со шпилькой.

В воскресенье утром часы висели на стене в квартире Заруцкой, на кованом крюке, над диваном, закрывая тёмное круглое пятно на обоях. Стрелки стояли на двадцати трёх сорока. Роман, увидев их, сел прямо на пол в прихожей, потому что ноги не держали, и некоторое время так сидел, обхватив колени, и Клавдия Семёновна гладила его по голове, как маленького.

– Это значит, – сказал он, – что мы ничего не можем вынести. Ничего. Даже если захотим.

– Это значит, что описанные вещи принадлежат квартире, – сказала Ксения. – Пока опись не закончена.

– А когда она будет закончена?

Ксения не ответила.

Она проверила ещё две вещи. Это было в воскресенье днём, при Романе и Клавдии Семёновне, и каждую проверку она записала в акт.

Первое. Она взяла с кухни банку с гречкой, описанную под номером восемьдесят семь, и пересыпала часть гречки в пакет. Немного, горсть. Пакет она унесла домой. Она хотела проверить, касается ли правило всего описанного имущества или только тех вещей, которые меняются.

Второе. Она принесла из дома свою кружку, белую, фаянсовую, без всякого ободка, купленную когда-то на рынке за сорок рублей, и поставила на круглый стол рядом с тремя чашками. Она хотела проверить, что будет с вещью, которой нет в описи.

– А вдруг она рассердится? – спросила Клавдия Семёновна, глядя на белую кружку на столе.

– Кто? – спросила Ксения, хотя понимала, о ком речь.

Клавдия Семёновна не ответила, только поджала губы.

Ночью Ксения снова сидела с описью. Это была уже третья ночь подряд, и она чувствовала, как усталость оседает в теле, как пыль: в коленях, в шее, под веками. Но спать она не могла. Пакет с горстью гречки стоял на столе перед ней, рядом с описью.

В три четырнадцать на восемьдесят седьмой строке появилось: «Возвращено». Ксения посмотрела на стол. Пакет был пуст. Не порван, не открыт, просто пуст, сложен так же аккуратно, как она его сложила, и внутри – ни одного зёрнышка.

А потом она увидела то, чего не ждала.

Внизу последнего, девятого листа описи, под подписями, под печатью, там, где на бланке было пустое место, медленно, с нажимом, проступала строка. Не правка, не зачёркивание. Новая строка, отдельная, без номера.

Фиолетовым, её почерком, но крупнее обычного:

«Описано не всё».

Ксения смотрела на эти три слова и чувствовала, как по спине поднимается холод. Не тот, мистический, из квартиры, а самый обыкновенный: холод человека, который вдруг понял, что ему сделали замечание. Описано не всё. Как если бы старший коллега прочитал её работу и вернул с пометкой на полях.

Она двадцать лет не получала таких пометок.

В понедельник утром она пришла в квартиру с Романом и Клавдией Семёновной. Белая кружка стояла на круглом столе, где она её оставила. Но не рядом с тремя чашками, а отдельно, на краю стола, ручкой к двери. Будто кто-то отодвинул её подальше от остальных. Как отодвигают чужое.

– Не рассердилась, – сказала Клавдия Семёновна с облегчением. – Просто отставила. Она так делала, когда я ей не те лекарства приносила. Не ругалась. Просто отставляла и смотрела.

Ксения забрала кружку и вымыла её дома, долго, горячей водой, хотя мыть было нечего.

Днём в понедельник она впервые за неделю уснула прямо за рабочим столом. Ненадолго, минут на десять, между двумя посетителями, положив голову на сложенные руки. Ей приснилась швейная машинка с ножным приводом, которая стучала сама собой, и кусок тёмного бархата, который полз из-под лапки, бесконечный, как река. Ира разбудила её, тронув за плечо, и поставила перед ней чай.

– Ксения Олеговна, вам надо поспать, – сказала она. – По-настоящему. Ночью.

– Ночью я не могу.

– Тогда давайте по очереди. Одну ночь вы смотрите, одну я. Опись можно у меня держать, я никому не скажу.

Ксения посмотрела на неё. Ира стояла у стола в своём малиновом шарфе, с тёмными кругами под глазами, и лицо у неё было серьёзное, без обычной улыбки.

– Это подлинник наследственного дела, Ира.

– Я знаю. А вы – мой начальник. И если вы свалитесь, кто будет вести дело?

Ксения не нашла, что возразить, и это было так непривычно, что она засмеялась.

Вечером, придя домой, она застала Соню на кухне за уроками. Дочь подняла голову и сказала, не здороваясь:

– Я тебе ужин погрела. И таблетки от головы положила. Вон, на блюдце.

– Спасибо.

– Мам, ты бы видела себя, – сказала Соня. – Ты как Аркадина в четвёртом действии. Все умерли, а она в лото играет.

– Никто не умер, Соня.

– Ну, старушка же умерла, – сказала Соня рассудительно и вернулась к алгебре.

Вечером в понедельник она написала на листе бумаги, на чистом, синей ручкой, своим обычным почерком:

«Правила.

Первое. Правка происходит в три часа четырнадцать минут ночи.

Второе. Правка вносится во все три экземпляра описи одновременно. Почерк мой. Чернила фиолетовые, перо.

Третье. Вслед за правкой меняется вещь в квартире. Она становится такой, какой была в ночь на пятнадцатое ноября тысяча девятьсот семьдесят четвёртого года. (Это предположение. Проверить.)

Четвёртое. Описанную вещь нельзя вынести из квартиры. Она возвращается следующей ночью. В описи появляется пометка «возвращено». Это касается всех описанных вещей, а не только изменённых.

Пятое. Вещь, которой нет в описи, можно принести, но её отставят.

Шестое. Правки происходят не каждую ночь. Две ночи правок не было. В эти ночи никто не смотрел. (Проверить.)

Седьмое. Опись не закончена. «Описано не всё»».

Она перечитала и подумала, что выглядит это как устав какого-то безумного клуба. Потом вспомнила, что римские юристы, которых она изучала в университете, тоже записывали правила для вещей, которых не понимали: для наследства, которое лежит без хозяина, для раба, который умер в пути, для дома, который сгорел до передачи. Они называли это «лежачее наследство» – наследство, которое ещё никому не принадлежит, но уже не принадлежит покойному. Оно лежит и ждёт.

Квартира Заруцкой тоже лежала и ждала.

Ксения дописала восьмой пункт:

«Восьмое. Чего она ждёт?»

И зачеркнула его, потому что это было не правило, а вопрос.

Позвонила Ира.

– Ксения Олеговна, я дозвонилась до Фаины Марковны! Суфлёр! Ей восемьдесят восемь, у неё голос как у молодой. Я сказала, что мы по делу Заруцкой. Она замолчала, долго-долго, я думала, связь оборвалась. А потом сказала: «Значит, Женя умерла». И заплакала. А потом сказала, что ждёт нас в среду, в театре, в два часа. Не дома. В театре. Сказала, что дома не будет говорить.

– Почему?

– Не знаю. Сказала, что в театре ей спокойнее. – Ира помолчала. – И ещё она спросила одну вещь. Она спросила: «Пальто уже вернулось?»

Ксения не сразу поняла, что держит телефон так крепко, что больно пальцам.

– Что ты ответила?

– Я сказала: да. А она сказала: «Значит, Женя начала говорить. Наконец-то». И повесила трубку.

Ксения положила телефон на стол. На столе лежал её лист с правилами. Внизу, под зачёркнутым восьмым пунктом, оставалось место. Она подумала, что, может быть, когда-нибудь его заполнит.

А пока завтра, во вторник, в десять утра, в кабинет капитана Мальцева должен был прийти человек, который пятьдесят лет назад закрыл дело Лидии Ветровой за три дня.

Глава 9. Голубев

Пётр Ильич Голубев пришёл в серый дом на двадцать минут раньше назначенного и, когда Ксения в без десяти десять поднялась на третий этаж, уже сидел в кабинете Мальцева на пустующем втором столе, прямо, как на допросе, держа на коленях кепку.

Ему было семьдесят девять лет. Высокий, сухой, сутулый, в старом сером костюме, который был ему велик в плечах, – наверное, когда-то сидел хорошо, но человек усох, а костюм остался. Белая рубашка, застёгнутая до горла, без галстука. Седые волосы, редкие, аккуратно зачёсанные. Лицо длинное, с глубокими складками от носа к подбородку, и глаза – светлые, водянистые, очень внимательные. Глаза следователя, подумала Ксения. Такие не стареют.

– Вершинина, – представил её Мальцев. – Нотариус. Это она нашла пальто.

Голубев поднялся, хотя ему это явно было трудно, и протянул руку. Рука была холодная и костлявая.

– Пётр Ильич, – сказал он. Голос у него оказался неожиданно сильный, низкий, поставленный, как у человека, который много лет выступал в суде. – Спасибо, что позвали. Вы не представляете, сколько я этого ждал.

Мальцев поставил на стол три стакана в подстаканниках, которые достал откуда-то из шкафа, и налил чаю из электрического чайника. Подстаканники были железнодорожные, с паровозами.

– Отцовские, – сказал он, поймав взгляд Ксении. – Пейте. Разговор длинный.

Голубев взял стакан, но пить не стал. Подержал в руках, будто грел пальцы.

– Станислав Андреевич мне рассказал, – начал он. – Про карточку. Про пальто. Про билеты. Про то, что билеты, – он чуть заметно улыбнулся, – как бы это сказать, гуляют. Я не буду спрашивать, как. Я старый человек, я видел в жизни столько, что научился не спрашивать о том, на что нет ответа. Я вам расскажу то, что знаю. А вы уж решайте.

Он помолчал, глядя в стакан.

– В семьдесят четвёртом году мне было двадцать девять лет. Я был старшим лейтенантом юстиции, следователем районной прокуратуры. Три года как из института. Женат, сын годовалый. Работы много, денег мало. Обычная жизнь. Восемнадцатого ноября, в понедельник, мне на стол положили заявление. Заявление было от гражданки Гуревич Фаины Марковны, суфлёра областного драматического театра.

Ксения и Мальцев переглянулись.

– Гуревич написала, что актриса Ветрова не явилась на спектакль шестнадцатого, в субботу, и на репетицию восемнадцатого. Что дома её нет. Что она пропала после премьеры четырнадцатого, в четверг, и что никто её не видел. Написала, что опасается за её жизнь. Это было необычно. Обычно о пропаже заявляют родственники. А тут суфлёр. Я спросил у начальника, почему мне. Он сказал: потому что ты молодой, тебе всё равно делать нечего, сходи в театр, посмотри. Может, девушка к кавалеру уехала.

Он отпил наконец чай, поставил стакан.

– Я пошёл в театр. Там было... странно. Я тогда не понял, а теперь понимаю. Все молчали. Режиссёр сказал, что Ветрова – взбалмошная, могла уехать, что у неё были планы на Ленинград, что она уже ходила к директору просить характеристику. Директор сказал то же самое. Актёры пожимали плечами. Один только Сабуров, молодой, Павел, разговаривал охотно. Красивый был парень. Очень вежливый. Он сказал, что они с Ветровой расстались ещё летом, что она была «неуравновешенная», что говорила какие-то глупости про заграницу. Я записал. Он смотрел, как я записываю, и улыбался.

– Он сказал «заграница»? – спросила Ксения. – Тогда, в семьдесят четвёртом?

– Тогда, в семьдесят четвёртом, – подтвердил Голубев. – В понедельник. Через четыре дня после того, как она пропала. Я ещё удивился: кто ж такое говорит следователю? Это же донос, по сути. Обвинение в намерении изменить Родине. А он говорил легко, будто про погоду. Я тогда подумал: либо дурак, либо знает, что ему ничего не будет.

– И что из двух?

– Он был не дурак, – сказал Голубев. – Его отец был полковником в областном управлении КГБ. Гордей Иванович Сабуров. Я тогда этого ещё не знал. Узнал через три дня.

Он полез во внутренний карман пиджака и достал оттуда сложенную вчетверо пожелтевшую бумагу. Развернул. Это была страница из блокнота, разлинованная, исписанная мелким убористым почерком.

– Это мои записи, – сказал он. – Черновые. Копии у меня не было, конечно, всё забрали. А это я тогда, в семьдесят четвёртом, переписал для себя вечером. Не знаю зачем. Сунул в книгу и забыл. Нашёл через двадцать лет, когда переезжал. С тех пор держу.

Он разгладил листок на столе.

– Я пошёл по адресу Ветровой. Она снимала комнату на Заречной, у старушки. Комната маленькая, кровать, шкаф, стол. Чемодан был собран и стоял у двери. Большой, коричневый, фибровый. В чемодане – платья, бельё, книги. Пьесы. Чехов, Островский. И детские вещи.

Ксения почувствовала, как у неё сжалось в груди.

– Детские вещи, – повторил Голубев. – Платьица, колготки, кофточка, всё маленькое, на двух-трёхлетнего ребёнка. И игрушка. Тряпичный заяц. Я спросил у хозяйки: у Ветровой есть ребёнок? Хозяйка сказала: нет. И отвела глаза. Я спросил ещё раз. Она сказала: не знаю я ничего, она мне платит, я не спрашиваю. А в театре никто о ребёнке не слышал. Совсем никто. Я спрашивал. Ни одна душа.

– Её прятали, – сказала Ксения. – Девочку.

– Я тоже так подумал. – Голубев кивнул. – Потом, гораздо позже. А тогда я был молодой и глупый, и я записал: «В чемодане детские вещи, принадлежность не установлена». Вот. – Он показал пальцем на строку в листке. – «Принадлежность не установлена». Я эту фразу пятьдесят лет помню.

Он перевернул листок.

– Дальше. Гуревич мне сказала, что Ветрова дружила с костюмершей. Заруцкой. Что после премьеры Ветрова могла пойти к ней, потому что жила Заруцкая рядом с театром. Я пошёл на Красных Зорь. Это было в среду, двадцатого.

– Квартира четырнадцать, – сказала Ксения.

– Квартира четырнадцать, – подтвердил Голубев. – Коммунальная. Две комнаты, одна – Заруцкой, другая пустая, сосед умер летом. Заруцкая открыла мне не сразу. Я звонил долго. Открыла – в халате, с булавками на груди, как они, портнихи, носят. Лицо серое. Я её спросил: была у вас Ветрова четырнадцатого? Она сказала: нет. Сказала, что после премьеры пошла домой одна, легла спать. Что Ветрову видела в театре последний раз, в гримёрной, перед вторым актом. Подгоняла ей платье.

Он помолчал.

– Я попросил войти. Она пустила. В комнате было чисто. Очень чисто. Пол только что вымыт. Пахло хлоркой, так сильно, что глаза щипало. Я спросил: зачем хлорка? Она сказала: у соседа в комнате мыши дохлые, запах, вот и мою. Я поверил. Почему не поверить?

– Ковёр, – сказала Ксения. – Там ковёр на полу в большой комнате. Был тогда?

Голубев посмотрел на неё внимательно.

– Ковра не было, – сказал он. – Голый пол. Крашеный, рыжий, как тогда красили. Свежевымытый. Ковёр, говорите, теперь есть?

– Есть.

– Значит, положили потом. – Он сделал пометку на своём листке огрызком карандаша, будто снова был на работе. – А теперь главное. Я выходил из комнаты, а в коридоре, на батарее, у двери в пустую комнату соседа, сохла варежка. Детская. Маленькая, вязаная, белая, с красной вышивкой. Птичка, кажется. Одна. Я спросил: чья? Заруцкая сказала: племянницы, брат приводил дочку. Я записал. «Варежка детская, со слов – племянницы». А потом...

Он замолчал. Мальцев смотрел на него, не мигая.

– Потом я спустился во двор. И во дворе, у арки, стоял грузовик. Театральный, с будкой, я видел такой у театра. «ЗИЛ». Кабина пустая. А в кузове, через открытую дверь будки, я увидел доски, брезент и следы. Серые. Как будто там возили цемент. Или землю. Я ещё подумал: что театральная машина делает у жилого дома в среду утром? Записал номер. Вот он. – Голубев ткнул карандашом в строку. – Я его тоже пятьдесят лет помню.

– У Виктора Заруцкого был брат? – спросила Ксения. – То есть у Евгении был брат Виктор, шофёр театра. Если он приводил дочку... У Виктора была дочь?

– Я потом проверил, – сказал Голубев. – В четверг. Сам, без начальства. Пошёл в отдел кадров театра. Заруцкий Виктор Аркадьевич, шофёр. Женат. Детей нет. Сын родился только в семьдесят восьмом.

– Мой отец? – спросил вдруг кто-то от двери.

Все обернулись. В дверях стоял Роман. Ксения позвала его, но не была уверена, что он придёт, и не заметила, когда он вошёл. Он был в своей кожаной куртке, с мокрым снегом на плечах, и лицо у него было бледное.

– Простите, – сказал он. – Я опоздал. Я внук Виктора Заруцкого. Роман. Мой отец родился в семьдесят восьмом. Значит, в семьдесят четвёртом у деда детей не было.

Голубев смотрел на него долго, будто видел в его лице кого-то другого.

– Похож, – сказал он наконец. – На деда. Я его видел. Один раз. В пятницу, двадцать второго.

– Вы его допрашивали?

– Я хотел. – Голубев медленно сложил листок. – В пятницу утром я пришёл на работу с планом. Допросить Заруцкого-шофёра. Допросить Заруцкую ещё раз, с протоколом. Осмотреть грузовик. Запросить, где Ветрова брала билеты, на вокзале, кассы. Выяснить, чьи детские вещи. Я был молодой и думал, что всё это можно сделать. В девять утра меня вызвал начальник. В кабинете у него сидел человек. Штатский. В сером костюме, в очках. Начальник сказал: Пётр Ильич, материал по Ветровой отдай товарищу. И всё, что есть. Я спросил: почему? Начальник сказал: потому что Ветрова выехала за границу, и этим будут заниматься компетентные органы. Я сказал: она не выехала, у неё чемодан собран и стоит в комнате, она бы его взяла. Начальник покраснел и сказал: Пётр Ильич, ты меня понял?

Голубев отпил чаю. Рука у него дрогнула, и чай пролился на блюдце.

– Я понял, – сказал он. – Я отдал. Всё. Протоколы, записи, фотографии. Товарищ в сером всё сложил в портфель, застегнул и встал. А в дверях обернулся и сказал мне... Знаете, я помню это лучше, чем свадьбу. Он сказал: «Пётр Ильич, полковник Сабуров просил вас поблагодарить. Вы хороший работник. У вас большое будущее».

В кабинете стало тихо. За окном, на улице, сигналила машина.

– И было, – сказал Голубев. – Будущее. Я стал старшим следователем, потом прокурором района, потом судьёй областного суда. Сорок лет. Квартира, дача, машина. Сын выучился. Внук в полиции. Хорошая жизнь. – Он посмотрел на Ксению своими водянистыми глазами. – А каждый ноябрь я вспоминаю детскую варежку на батарее. И грузовик во дворе. И чемодан у двери. И думаю: если бы я тогда не отдал папку, а пошёл бы с ней в прокуратуру области, в Москву, куда угодно, – что было бы?

– Вас бы уволили, – сказал Мальцев. – В лучшем случае.

– Да. В лучшем случае. – Голубев кивнул. – А в худшем – ничего бы не изменилось. Я это себе пятьдесят лет говорю. Не помогает.

– А в марте? – спросила Ксения. – Когда мать подала заявление?

– В марте я уже не работал по району. Меня перевели. Повысили, – он горько усмехнулся. – Но я узнал. Мать Ветровой пришла в милицию с заявлением, потому что четыре месяца ждала письма от дочери. Ей сказали, что дочь уехала в Ленинград, что напишет. Потом она пошла в театр, ей там сказали, что дочь уволилась по собственному желанию, что заявление пришло по почте. Она пошла в милицию. Розыск завели и через восемь дней закрыли. Мать умерла в восемьдесят первом. Я ходил к ней один раз, в семьдесят девятом. Хотел сказать... не знаю, что хотел. Она открыла дверь, посмотрела на меня и сказала: «Вы тот следователь, который отдал папку». И закрыла. Она знала. Откуда – не знаю.

– А ребёнок? – спросила Ксения. – Вы что-нибудь узнали о ребёнке?

Голубев помолчал.

– Слух был, – сказал он. – Один. В восемьдесят пятом, когда я уже был в суде, у нас было дело о Сосновском доме ребёнка. Растрата, обычное дело. Директриса там была, Кондратьева. Я её допрашивал. После допроса, когда протокол уже был подписан, она мне сказала, просто так, по-человечески: «Пётр Ильич, а вы помните дело Ветровой?» Я сказал: помню. Она сказала: «К нам в семьдесят четвёртом году, в конце ноября, ночью привезли девочку. Без документов. Привезли люди из управления. Велели записать как подкидыша, под фамилией Петрова. А через месяц девочку удочерили. Очень быстро. Обычно годами ждут, а тут за месяц. Хорошая семья, учителя». Я спросил: при чём тут Ветрова? Она сказала: «При девочке ничего не было. Одна варежка. Белая, с красной птичкой. А я потом в газете фотографию Ветровой увидела, в розыске. Девочка на неё была похожа как две капли воды». Я спросил: какая семья удочерила? Она сказала: «Не скажу. Тайна усыновления. Я и так лишнего наговорила». И больше ничего не сказала. Через год она умерла.

Ксения сидела очень прямо. Она чувствовала, как пальцы сжимают подстаканник с паровозом, и не могла их разжать.

– Варежка, – сказала она. – С красной птичкой.

– С красной птичкой, – повторил Голубев. – Как та, что сохла на батарее у Заруцкой. Одна. Вторая, значит, осталась там.

– Учителя, – сказал Мальцев. – Хорошая семья. Удочерили за месяц. Это же можно найти, Пётр Ильич. Через суд, с запросом. Если будет основание.

– Основание, – сказал Голубев и снова усмехнулся. – Пятьдесят лет назад у меня было основание. Чемодан, варежка, грузовик, хлорка. Мне сказали: Ветрова за границей. Сейчас вы пойдёте к судье и скажете: у нас пальто, которое появилось в опечатанной квартире, и билеты, которые возвращаются сами. Судья вас выгонит.

– Значит, нужно другое основание, – сказала Ксения.

Все посмотрели на неё.

– Нужно тело, – сказала она. – Если есть тело, есть дело. Если есть дело, есть запросы. Если есть запросы, есть архив дома ребёнка. И тогда мы найдём девочку.

– А где тело? – спросил Роман тихо.

Никто ему не ответил. Но Ксения подумала о Клавдии Семёновне, которая сказала: грузовики с бетоном ночью ездили. И о Голубеве, который видел в кузове театрального «ЗИЛа» серые следы. И о фотографии на комоде: четверо у недостроенной сцены Летнего театра.

Голубев ушёл в половине первого. Мальцев вызвался его отвезти, но старик отказался: сказал, что ему надо пройтись. Ксения проводила его до выхода. На крыльце серого дома он остановился, надел кепку и посмотрел на неё.

– Ксения Олеговна, – сказал он. – Я вам скажу одну вещь. Я в суде сорок лет сидел. Я видел, как люди врут, и как они говорят правду, и как они путаются. Я научился по лицу узнавать. Так вот. Когда я сказал про варежку, у вас лицо стало такое, будто я вас ударил.

– Вам показалось.

– Может быть. – Он кивнул. – Старому человеку многое кажется. Но если вам вдруг понадобится, что-то вспомнить или кого-то найти, я ещё живой. Я вам помогу. Я должен.

– Кому должны?

– Ей, – сказал Голубев просто. – Лидии Сергеевне. Я пятьдесят лет должен.

Он спустился по ступенькам и пошёл по улице, высокий, сутулый, в великоватом сером костюме, и мокрый снег ложился ему на плечи.

Ксения вернулась в контору и до вечера работала. Она удостоверила договор займа между двумя братьями, оформила отказ от наследства в пользу сестры и выдала свидетельство о праве на наследство вдове, которая всё время повторяла: «Я же не хотела, я же просто так подписала». Она отвечала всем ровно, вежливо и точно. А сама думала о варежке.

Не о той, что сохла на батарее пятьдесят лет назад. О другой.

Когда она была маленькая, лет пяти или шести, мать однажды показала ей шкатулку. Деревянную, расписную, хохломскую, которая стояла у неё в шкафу на верхней полке, за стопкой постельного белья. Мать открыла её и показала: там лежали Ксенины молочные зубы в спичечном коробке, её первая прядь волос, перевязанная ниткой. Бирки из роддома не было. Ксения это помнила. Бирки не было, и она спросила, где бирка, потому что у соседской девочки Светы бирка была, Света показывала. А мать сказала: «Потерялась». А потом показала варежку.

«Это твоя первая варежка, – сказала мать. – Маленькая была совсем. Вторая потерялась».

Варежка была белая. С красной вышитой птичкой.

Ксения сидела за рабочим столом, глядя на экран компьютера, на котором был открыт какой-то договор, и не видела ни слова. Она думала: этого не может быть. Мало ли белых варежек с птичками. В семидесятые их вязала каждая вторая бабушка. Птичка – самый простой узор, его в любом журнале печатали. Это совпадение. Голубев – старый человек, он мог перепутать. Директриса дома ребёнка могла соврать. Всё могло быть.

Вечером Ира, уходя, задержалась в дверях.

– Сегодня моя ночь, – сказала она. – Вы обещали. Давайте опись.

Ксения долго смотрела на неё. Потом открыла сейф и отдала ей папку.

– Если что-то будет, – сказала она, – звони сразу.

– Позвоню.

Ира ушла. Ксения поехала домой, накормила Соню, проверила у неё историю и слушала, как дочь рассказывает про реформы Столыпина, и кивала, и думала о шкатулке на верхней полке материнского шкафа. Позвонить матери. Сейчас. Спросить. Мам, у тебя сохранилась моя варежка?

Она взяла телефон, набрала номер и сбросила, не дождавшись гудка.

В три часа шестнадцать минут ночи телефон зазвонил сам. Ксения не спала. Она лежала в темноте с открытыми глазами и взяла трубку сразу.

– Ксения Олеговна, – сказала Ира. Голос у неё был тонкий, срывающийся. – Пластинка. Строка шестьдесят вторая. Там было «Пластинка, Вертинский, в бумажном конверте». А теперь фиолетовым: «Пластинка без конверта, гибкая, синяя, с надписью от руки: Л. Ветрова, проба, сентябрь 1974».

– Хорошо, Ира. Утром поедем.

– Подождите. Это ещё не всё. – Ира перевела дыхание. – Ксения Олеговна, я сидела у себя на кухне, с описью. И в три четырнадцать, когда строка написалась, я услышала музыку. Ну, не музыку. Голос. Тихо-тихо, будто из соседней квартиры, через стенку. Женский голос.

Он что-то читал. Стихи или монолог, я не разобрала. А потом замолчал. И я точно знаю, что у соседей никого нет, они в Турции.

– Что он говорил? Хоть слово?

Ира помолчала.

– Одно слово я разобрала, – сказала она. – В самом конце. Голос сказал: «Женя».

Глава 10. Пластинка

Утром в среду, в восемь, они стояли у двери квартиры номер четырнадцать вчетвером. Ира – с описью, прижатой к груди, как икона. Роман – с термосом, потому что Клавдия Семёновна ещё накануне сказала ему, что в квартире у покойной теперь всегда холодно. Клавдия Семёновна – с ключами. И Ксения, которая спала три часа и чувствовала себя так, будто её саму описали и опечатали.

Печать была целая. Ксения уже не удивлялась. Она сфотографировала, разрезала ленту, составила акт. Рука выводила привычные слова сама: «при вскрытии опечатанного помещения повреждений печати не обнаружено».

Пластинки лежали на нижней полке тумбочки под проигрывателем, в стопке. Десять штук. При описи Ксения перебрала их все: Шульженко, Вертинский, Чайковский, «Времена года», оркестр Силантьева, Утёсов. Все в бумажных конвертах, с потёртыми, надорванными уголками. Вертинский лежал третьим сверху.

Сейчас третьей сверху лежала другая пластинка.

Без конверта. Тонкая, гибкая, синяя, полупрозрачная, как цветное стекло. Ксения помнила такие: их вкладывали в журнал «Кругозор», и они гнулись, если взять за край, и звучали так, будто музыка шла из соседней комнаты. Отец собирал их одно время, пока не надоело. Но эта была не журнальная. На ней не было ни типографской надписи, ни картинки. Только по центру, на гладкой площадке вокруг дырочки, кто-то написал белой тушью, мелко, от руки: «Л. Ветрова. Проба. Сентябрь 1974».

– Это студийная, – сказала Ира шёпотом. – Я читала. Тогда на радио можно было записать пробу. Для себя. Ну, или для худсовета. Её прямо в студии нарезали, на гибкий диск.

– Откуда ты знаешь?

– Я всю ночь читала, – сказала Ира виновато. – После того, как голос услышала. Всё равно бы не уснула.

Роман стоял у проигрывателя и смотрел на него так, будто это был сундук с динамитом.

– Включать будем? – спросил он.

Ксения посмотрела на Клавдию Семёновну. Та пожала плечами.

– Она слушала, – сказала старшая по дому. – Евгения Аркадьевна. Каждый вечер, перед сном. Я снизу слышала. Вертинского ставила. Всегда одну и ту же песню, про лилового негра. А теперь, значит, не Вертинского.

– Проигрыватель – описанное имущество, – сказала Ксения. – Мы его не выносим. Мы его просто включаем. Это не нарушение.

Она сама не знала, кого убеждает.

Проигрыватель «Вега» был старый, в деревянном корпусе под орех, с прозрачной пластмассовой крышкой, пожелтевшей от времени. Роман поднял крышку, нашёл шнур, воткнул вилку в розетку под окном. Зажглась крошечная красная лампочка. Диск под пластинку медленно, с усилием, будто просыпаясь, начал вращаться.

Ксения взяла синюю пластинку за края – она была лёгкая, почти невесомая, и чуть пружинила в пальцах – и положила на диск. Пластинка легла, дрогнула и пошла по кругу. Белая надпись на ней поплыла, сливаясь в линию.

– Подождите, – сказала Ира и достала телефон. – Я запишу.

– Записывай.

Роман осторожно поднял рычаг с иглой, повёл его над пластинкой и опустил на край.

Сначала было шипение. Долгое, ровное, похожее на шум дождя за окном. Потом щелчок. Потом – дыхание. Кто-то стоял очень близко к микрофону и вдыхал перед тем, как начать.

И женский голос сказал:

– «Я – чайка. Нет, не то».

Голос был молодой, низкий, чуть хрипловатый, с тёплым, грудным звуком. Он говорил не так, как говорят актрисы в старых записях, не нараспев, не с придыханием, а просто, почти буднично, будто рассказывал подруге что-то важное за чашкой чая.

– «Помните, вы подстрелили чайку? Случайно пришёл человек, увидел и от нечего делать погубил... Сюжет для небольшого рассказа. Это не то...»

Ксения стояла посреди комнаты и не могла пошевелиться.

Она знала этот монолог. Не потому, что читала «Чайку» в школе, – она помнила её смутно, как помнят всё, что читали в шестнадцать лет. Она знала его потому, что последние три недели Соня читала его вслух в своей комнате, по вечерам, раз за разом, закрыв дверь, думая, что мать не слышит. Ксения слышала. Через стену, сквозь музыку, сквозь шум воды в ванной. «Я – чайка. Нет, не то». Соня говорила это иначе: громче, отчаяннее, с подростковым надрывом, ещё не умея прятать чувство за словами. Но в некоторых местах – там, где голос опускался вниз, на «нет, не то», и там, где фраза обрывалась на полуслове, – было что-то такое же. Не похожее. Такое же. Как бывает, когда слышишь голос в соседней комнате и на секунду думаешь, что это твой ребёнок, а потом понимаешь, что это чужой человек, просто с той же интонацией.

– «Теперь уж я не так... Я уже настоящая актриса, я играю с наслаждением, с восторгом, пьянею на сцене и чувствую себя прекрасной...»

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.